

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



←2→

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву 1941

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 2

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 2 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву 1941)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава	5
Глава 1. Вытащили и привели	6
Глава 2. Перевязочная	14
Глава 3. Встать	20
Глава 4. Я читал землю	26
Глава 5. Двенадцать человек	34
Глава 6. Химический карандаш	41
Глава 7. Курыдохнут	46
Глава 8. Как горит враньё	52
Глава 9. Пятнадцать минут	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Битва за Москву 1941 - 2

Глава

Бой за Москву
Том второй

Глава 1. Вытащили и привели



Тычок ушёл в поле, и эхо от него сползло по лесу вниз и там улеглось.

Я стоял и держал руку поднятой ещё секунды две после того, как Демьян отвернулся, — так и стоял, как дурак, с поднятой ладонью над пустой дорогой. Пальцы уже начали дубеть от сырого холода, а я всё держал. Потом опустил, и рука упала тяжело, будто чужая.

— Слышал? — сказал Опарин.

— Слышал.

— Ближе.

— Ближе, — согласился я. — Только, Кондрат Силантьич, ты не спеши. Утро тихое, воздух плотный, сырость. По такому воздуху звук идёт дальше и садится ниже, и тебе кажется, что он подошёл, а он на месте стоит и только чище слышится.

Он посмотрел на меня из-под шапки долгим взглядом, не мигая, и в этом взгляде было ровно столько же недоверия, сколько и уважения, — он ещё не решил, в какую сторону клониться.

— Это тебя тоже арифметика учила?

— Это меня учил один старик, — сказал я и для убедительности отвёл глаза в сторону, будто вспоминал. — Он всю жизнь при пасеке жил, а слух имел волчий. Говорил: сырость звук не приближает, она с него шелуху снимает.

Старика не было. Был инструктор, у которого я в другой жизни принимал зачёт по акустике, и говорил он ровно это же, только другими словами и с матом, стоя у доски с осциллограммой. Но пасека звучит куда убедительнее, а главное — её не проверишь.

— Ну, коли шелуху, — сказал Опарин без всякого выражения, разглядывая меня так, будто взвешивал мешок с зерном, — тогда ладно.

Он отвернулся первым, и по этому короткому движению плеч я понял: поверил не до конца, но спорить не станет, а это уже немало.

Мы пошли по линии в обратную сторону, считая своё, и я в третий раз за утро прошёл шесть с половиной ячеек и в третий раз остался ими доволен ровно наполовину, потому что

человек, который доволен своей работой целиком, обычно чего-то в ней не увидел. Ноги гудели после ночи — не болели ещё, а именно гудели, тяжело, как гудит натянутая струна, и я нарочно наступал на пятку, потом на носок, разгоняя кровь, чтобы к концу линии не заплетаться.

Народ доедал. Кухня к нам не пошла — мы были на отшибе, — прислали два термоса на всю смену, и каша в них дошла до состояния, которое Гнутов определил как «тёплая память о каше».

— Гринёв! — заорал он через бруствер, размахивая ложкой так, что с неё слетела капля и упала на мокрую землю тёмным пятном. — А правда, что если кашу заморозить, её можно колоть и грызть?

— Правда, Федя.

— А ты пробовал?

— Я в Дмитрове бревно поднимал, — сказал я. — Которое трое поднимали. Мне после этого кашу грызть неинтересно.

Он захохотал так, что чуть не подавился, поперхнулся, закашлялся, замахал руками, и Опарин рядом стукнул его по спине ладонью — не глядя, привычным движением, как стучат по трубе, чтобы прочистить. Гнутов прокашлялся, вытер глаза рукавом и снова заулыбался, будто ничего не было.

Я подумал: хорошо. Смена вышла из ночи живая. Никто не сорвал спину, никто не застудил щёк, у Хвостова копеечка кожи с ладони и весь ущерб. И тут же одёрнул себя — рано радоваться, утро только началось, а на войне утро — это самое ненадёжное время суток, оно обещает одно, а даёт совсем другое.

И тут ко мне подошёл Стеблов.

Я его увидел шагов за тридцать и сразу понял, зачем он идёт, — по походке. Человек, идущий с просьбой, которую он себе уже разрешил, идёт особенным шагом: чуть быстрее нужного и глядя прямо в лицо тому, к кому идёт, потому что боится по дороге передумать. Стеблов шёл именно так, ботинки его чётко впечатывались в липкую грязь, и он не глядел под ноги, хотя мог бы оступиться.

Он был не такой, как в санитарном углу. Там он лежал серый, с прозрачным носом, и говорил про деревню шёпотом. Сейчас лицо у него было живое, обветренное, только правое плечо он держал странно — не поднимал, и рука на этой стороне шла вдоль тела ровно, как приклеенная, будто он боялся, что она отвалится, если он про неё забудет хоть на секунду.

— Гринёв, — сказал он и остановился в двух шагах, будто на невидимой черте.

— Стеблов.

— Ты старший.

— На эту смену — я, — сказал я. — До обеда, наверное, а там Бортников вернётся, и я опять стану кто был.

— Мне надо в строй.

Вот так, сразу. Без обхода. Он, наверное, всю дорогу от обоза эту фразу нёс, как полное ведро, боясь расплескать по пути, и теперь выплеснул её всю разом, потому что ведро оказалось тяжелее, чем он думал.

— В строй, — повторил я, тянув слово, чтобы выиграть секунду.

— Меня к обозу приткнули, — сказал он быстро, глотая слова, и левая рука его сжалась в кулак и разжалась, снова сжалась. — Я там мешки считаю. Мешки, Гринёв. Я третий день считаю мешки, а Прохор мне ещё и кричит, потому что глухой. Поставь меня на линию.

Вот тут внутри у меня поднялось.

В памяти поднялась картинка: развороченный миной бруствер, Стеблов на боку в мокрой земле и рваная гимнастёрка на плече. Мышцу вскрыло поперёк, кровь шла толчками, ноги у него стали ватными, и сначала он только повторял, что не может встать. Я протащил его первые шаги по земле, потом он всё-таки поднялся и дошёл до фельдшера, повиснув у меня

на плече. Это было несколько дней назад, но я до сих пор помнил тяжесть его тела и то, как сапоги волочились по грязи.

Несколько дней. Рваная осколочная рана плеча, срок совсем малый.

И вот стоит человек и просит, чтобы я его поставил.

Раньше — до вчерашней ночи — я бы ему сказал по-товарищески: лежи, брат, куда ты. И это было бы моё личное мнение, и весило бы оно ровно столько, сколько весит мнение одного новобранца о другом, то есть нисколько.

А сегодня меня Бортников поставил над сменой, и моё «лежи, брат» стало приказом. И моё «вставай, брат» тоже стало приказом. И вот это совершенно другая тяжесть в руках, и я её взял и подержал впервые за две жизни в таком виде — потому что там, в первой, у меня была должность, но не было вот этой смешной подробности: там я командовал взрослыми людьми, которых мог отправить в госпиталь одним словом в рацию, а здесь передо мной стоит мальчишка, и госпиталь у него — телега Прохора, а военно-врачебной комиссии на роту не положено вовсе.

— Руку подними, — сказал я.

— Чего?

— Правую. Вбок и вверх. Ну?

Он поднял. Пошло до половины хорошо, а дальше лицо у него дёрнулось, зубы стиснулись, скулы побелели, и он поднял остальное на злости, через боль, и держал, вздрагивая, как держат перегруженную ветку.

— Опусть, — сказал я. — Не геройствуй, я не барышня, меня этим не возьмёшь. Теперь скажи мне правду, и правду я узнаю, потому что я тебе сейчас в глаза смотрю. Ты винтовку с колена поднимешь?

— Подниму.

— Двадцать раз подряд? С разворотом?

Он помолчал, отвёл взгляд к своему плечу, будто спрашивал у него разрешения соврать, но потом снова посмотрел на меня.

— Раз пять подниму, — сказал он. — Дальше не знаю.

Вот за эту честность я его и взял. Соврал бы — отправил бы обратно к мешкам и не думал.

— Стеблов, — сказал я. — Ты сейчас думаешь, что я сейчас начну про заботу. Не начну. Слушай счёт. Если я тебя не ставлю, у меня на линии на одного стрелка меньше, и это плохо, потому что нас и так мало. Если я тебя ставлю и ты через час не можешь держать оружие, у меня на линии на одного стрелка меньше плюс один человек, которого надо тащить. Вот и вся моя арифметика, и в ней ты, а не жалость.

— Я не буду обузой, — сказал он глухо, и голос у него сорвался на последнем слове, и он сглотнул, стыдясь этого срыва.

— Будешь или не будешь — решит твоё плечо, а не твоё желание, — сказал я. — Поэтому давай так. Я тебя ставлю.

Он вскинулся весь, распрямился, будто с плеч сняли мешок, и на лице у него мелькнуло что-то похожее на радость мальчишки, которого взяли в игру старшие.

— Ставлю, — повторил я, — но не куда ты хочешь. Пойдёшь на левый край, на старый участок, за перелесок. Там сегодня тихо, там мы вчера не работали и не работаем, там сидят двое, и ты будешь третий. Наблюдение и левый сектор. Стрелять оттуда придётся редко, а глядеть — постоянно.

Он потемнел лицом, и радость с него сползла, как сходит краска с промокшей бумаги.

— В тыл, значит.

— На фланг, — сказал я. — Стеблов, это не тыл. Это край. Тыл — это где Прохор с мешками, а край — это где линия кончается и начинается поле. Если хочешь знать моё мнение,

край всегда хуже середины, потому что в середине у тебя соседи с обеих сторон, а на краю с одной стороны сосед, а с другой — весь мир.

— Так, может, тогда и правда...

— Не может, — сказал я, и голос у меня сам стал жёстче, отсекающим. — Слушай условие, и оно жёсткое. Первые дни — никаких резких движений плечом. Винтовку кладёшь на бруствер, работаешь с упора, а не на весу. Ползком, если придётся, — на левом локте, правый береги. И вот главное: если станет худо — говоришь вслух и сразу. Не через час, не когда посинеешь. Вслух и сразу. Скажешь — я перестрою. Промолчишь — и это будет твоя личная подлость по отношению к тем двоим, которые на тебя рассчитывают.

Он посмотрел на меня как-то по-новому — снизу вверх, хотя был одного со мной роста, — и вроде и обрадовался, и вроде что-то у него в лице съехало, будто он услышал одновременно и разрешение, и приговор.

— Ты чего? — сказал я.

— Да ничего. — Он повёл здоровым плечом, дёрнул им резче, чем нужно, лишь бы чем-то занять тело. — Ты со мной как сержант разговариваешь.

— Слушай, — сказал я, и на секунду мне самому стало смешно от этого совпадения, — второй человек за утро мне это говорит. Кондрат Силантьич тоже сказал и до сих пор не решил, обидел он меня этим или похвалил.

— Похвалил, — сказал Стеблов. — Я решил быстрее.

— То-то, — сказал я. — Иди. Скажешь Мыльникову, что я тебя прислал, а он тебе на это скажет, что у него ноги мокрые. Ты его выслушай и не спорь, у нас с ним договор.

Он пошёл. И вот тут я сделал одну вещь, которую делаю всегда и уже двадцать три года не могу объяснить людям так, чтобы они не решили, что я чудака: я не стал сразу заниматься следующим делом, а постоял и посмотрел ему в спину, пока он шёл до места.

Смотрю я на это не из сентиментальности. Смотрю, потому что походка человека на дистанции в двести шагов говорит про его состояние больше, чем сам человек скажет вслух за час.

Стеблов шёл ровно первые полсотни шагов, спина прямая, шаг твёрдый, потом на неровности качнулся и придержал правую руку левой — коротко, воровато, оглянувшись, не видит ли кто.

Я видел.

Ну, значит, пять раз с колена — это он мне ещё зависил, подумал я. Значит, три. И записал это себе куда-то внутрь, в тот же список, где у меня уже лежали шесть с половиной ячеек и восемь патронов Ковалёва.

И вот пока я на него смотрел и считал эти его три раза, глаз у меня зацепился за другое.

За перелеском, за кромкой того самого молодняка, что подпирает левый край, что-то шевельнулось.

Я не буду вам врать, что я увидел каску, или ствол, или человека. Я не увидел ничего такого. Я увидел, что серая вертикальная штриховка стволов на секунду перестала быть равномерной — как будто по расчёске провели пальцем и один зубец лёг иначе.

И тут же всё встало на место, и стало как было.

Дальше начинается то, за что я в прошлой жизни ел людей поедом, а в этой ел себя.

Я поймал слабый признак. Признак слабый — на грани того, что глаз сам себе рисует от усталости после ночи. У меня за спиной ночь без сна, у меня в глазах песок, веки как наждак, и любая книжка по физиологии скажет, что уставший наблюдатель видит движение там, где его нет, чаще, чем не видит там, где оно есть.

Значит, по-хорошему — проверить.

А проверять мне нечем. Бинокли у меня нет и не будет. Стереотрубы у меня нет и не будет. Наблюдательного пункта с телефоном у меня нет. Вертолёт у меня нет, и дрона нет. И

тут обнаружилась моя самая стыдная привычка: до сих пор, на пятые сутки, рука сама идёт к нагрудному карману в ту секунду, когда мне надо посмотреть, что там за лесом. Она идёт туда, где двадцать три года лежала связь. А там пуговица.

Я стоял и держал руку на этой пуговице, крутил её большим пальцем, будто это могло что-то прояснить.

И вот тут во мне заспорили двое.

Один говорит: ты старший смены четыре часа. Ты сейчас поднимешь всех, кто отдыхает после ночной работы, потому что тебе на голодный глаз почудился зубец расчёски. Люди встанут, продрогнут, час просидят, ничего не случится, и весь твой ночной кредит уйдёт в дым. Второй раз тебя уже никто не послушает.

Второй говорит: у тебя там на этом краю сидят трое, и один из них — с дыркой в плече, которого ты сам туда пять минут назад послал.

Оба, между прочим, были правы.

— Кондрат Силантьич! — позвал я.

Опарин подошёл, вытирая руки о полу шинели, не спеша, будто у него в запасе весь день.

— Ну?

— Гляди на перелесок. Вон, где молодняк реже. Гляди спокойно, не пялься, скользи глазом слева направо и обратно.

Он посмотрел. Долго, минуты полторы, не двигая головой, только веки у него чуть щурились, и я его в эту минуту очень зауважал, потому что девять человек из десяти начинают вертеть шеей и щуриться.

— Ничего, — сказал он наконец.

— И я ничего.

— А чего тогда спрашиваешь?

— А затем, — сказал я, — что я перед этим кое-что видел, а теперь не вижу, и мне надо знать, я один такой или мы оба.

Опарин пожевал губами, поглядел ещё раз на кромку, потом сплюнул в сторону — коротко, привычно.

— В прошлом году, — сказал он, — у нас волк повадился. Ходил к овчарне. И его никто не видал ни разу, а собаки знали. Собака стоит и глядит в одну точку, и шерсть на ней стоит, а ты глядишь туда же — и нет ничего, поле да поле. — Он посмотрел на меня, и в глазах у него была не насмешка, а что-то серьёзное. — А волк был. После нашли по следу.

— И что ты этим хочешь сказать?

— Что ты, Гринёв, гляди на своё, — сказал Опарин. — Не спрашивай у меня, есть ли волк. Ты собака, тебе виднее.

— Спасибо, — сказал я. — Вот это, Кондрат Силантьич, лучшее, что мне про меня говорили за неделю.

— Так я ж от души.

Я и решил.

И решил я, обратите внимание, не «поднять тревогу» и не «ничего не делать». Это две крайности для дураков. Я сделал третье, и его надо назвать своим именем: я поднял цену наблюдения, ничего не поднимая по тревоге.

— Гнутов!

— Тут!

— Возьми Ковалёва, идите на левый край к Мыльникову. Не бегом, шагом. Кашу с собой возьмите, скажете, что вы им термос донесли.

— Так они ели уже.

— Значит, скажете, что донесли добавку, и тем осчастливите. — Я поймал его за рукав, притянул чуть ближе, чтобы он смотрел мне прямо в лицо. — Федя. Слушай сюда двумя

ушами. На месте — сесть так, чтобы вам был виден перелесок целиком, от края до края. Просто сесть и глядеть. Ни слова про то, что я вас послал глядеть. Услышал?

Гнутов посмотрел на меня, и веселье у него с лица ушло, как ушла бы улыбка со стёртой картинки.

— Немцы? — спросил он тихо, впервые за утро без своей обычной дурашливости.

— Не знаю, — сказал я. — В этом всё дело, Федя. Если бы я знал, я бы орал, а не шептал. Иди.

Они пошли. Ковалёв кивнул мне коротко, без слов, и подхватил термос, который Гнутов уже успел куда-то сунуть. И вот эту минуту — пока они шли по открытому, вдвоём, с термосом, дурачась и толкаясь, — я вспоминал потом много раз, потому что она была последняя тихая минута того утра.

Ударило в семь сорок, если по моим внутренним часам, а внутренние часы у меня врут минут на десять в любую сторону.

Первым звуком был не выстрел. Первым звуком был мотор.

Он вошёл в утро снизу, из-под всех прочих шумов, — низкий, ровный, с надрывом на верхах, и я его узнал раньше, чем сообразил, что узнал. Это очень мерзкое чувство: тело уже дёрнулось, каждая мышца разом натянулась, а голова ещё не догнала и только через полсекунды подаёт справку, откуда она знает этот голос.

Три ночи назад. Я стоял на посту, слышал вот этот самый надрыв на юго-западе — мотор давит, срывается, снова давит, — и разложил его правильно по механике: машина сидит, буксует, выдирается. И разложил неправильно по смыслу. Я тогда подумал: чужая беда, далеко, не наша забота. И даже, помню, порадовался коротко и подлю, как радуются, когда у соседа во дворе застряла телега.

А надо было подумать другое. Надо было подумать: если они там ночью, в грязи, надрывая тягач, вытаскивают машину — значит, эта машина им зачем-то нужна. Не бросили. Таскали. Значит, у них на неё планы, и планы эти лежат не в Берлине, а вот тут, в двух километрах от меня.

Три ночи я об этом не думал.

Мотор был слева, за перелеском.

— Ложись! — заорал я, и в ту же секунду с левого края хлопнуло.

Одиночный. Наш, трёхлинейка — я звук уже отличал, за пять дней научишься. И сразу за ним, отражённое от стволов молодняка, пришло эхо, и от этого эха показалось, что стреляли вдвое ближе и вдвое злее.

А потом с той стороны ответили, и ответили не одиночными.

Я побежал.

Бежать было триста шагов, вдоль своей вчерашней, гордой, открытой на совесть линии, — мимо шести с половиной ячеек с узким устьем, глубиной ровно как надо, с карманом под локоть, с упором, который придумал Гнутов. Я бежал мимо своей ночной работы, самой лучшей работы, какую я сделал в этом теле, ноги вязли в холодной грязи, дыхание рвало горло на сыром воздухе, — а работа эта лежала правее, тёмная, свежая, отличная, — а стреляли левее, там, куда мы вчера не дошли.

Всю ночь я ковал щит для правой руки, а били слева.

И, пока я бежал, у меня в голове с холодной ясностью выстроилось то, что я вчера решил и о чём вчера не подумал. Вчера я поставил семерых работать по освоенным отрезкам, потому что там уже били и там точно будут бить снова. Логика железная. Логика такая железная, что я даже не подумал спросить у себя: а если противник тоже умеет думать, и он пять дней назад щупал нас разведкой боем, и он видел, где у нас густо, а где пусто?

Он видел. Он тогда и щупал ровно за этим.

Я вылетел на край, и здесь мне первым делом ударило в нос.

Запах. На свежей нашей линии пахнет вскрытым мокрым суглинком — резко, чисто, почти вкусно. А тут — прелью, застоявшейся сыростью старой травы, кислым духом прошлогодних листьев, которые с осени намело в ямы из перелеска и никто их не выгреб.

Ямы. Вот они, наши ямы первых дней.

Их копали в сентябре, в тепле, штыковой лопатой на глубину около метра, вкруговую, без всякого расчёта на то, что кто-то будет тут воевать уже в октябре. За несколько дождливых недель стенки оплыли, сырость размыла края, бруствер осел и рассыпался. Человек, сидящий в такой яме, укрыт по пояс. Всего по пояс. И — самое главное, и это я увидел сразу, лёжа, потому что упал на живот в первую же секунду, обдирая ладони о тяжёлые комья, — бруствер у них насыпан на запад.

На запад. Как положено. Как было правильно в сентябре.

А немец шёл не с запада. Немец шёл вдоль фланга, слева-сбоку, от перелеска наискось, и в этом положении наш собственный бруствер укрывал наших людей от пустого поля, а с боку они были голые, как на ладони.

Мыльников лежал за своей ямой снаружи, на земле, — сам сообразил, что в яме хуже.

— Гринёв! — заорал он. — Гринёв, у меня ноги мокрые!

— Знаю! — заорал я. — Где Стеблов?!

— Тут я, — сказал Стеблов совершенно спокойно откуда-то из-под левого взлобка, и я его увидел: он лежал в мелкой ложбинке, в стороне от ям, на левом боку, винтовку положил на кочку, и правую руку он держал под собой, а работал левой и плечом. — Я двоих видел. По кустам идут.

— Сколько всего?

— Не считал.

— Считай, — сказал я. — С этой минуты твоя работа — считать. Ты у меня глаза.

Я приподнял голову на ладонь и посмотрел.

От кромки перелеска, редкими короткими перебежками, шли люди. Не толпой — грамотно, по двое-трое, накатом: пара встала, дала, вторая пробежала, легла. Классика, которую я в своей жизни видел столько раз, что могу под неё уснуть. Их было — я насчитал за три секунды одиннадцать, значит, реально человек двадцать, потому что видно всегда половину.

А за ними, у самой кромки, между стволами, стоял он.

Серая коробка, скошенная морда, открытый верх. Полугусеничный. Стоял на кромке, не выходя на открытое, и водил стволом вдоль нашего края.

Вот же ты, подумал я. Вытащили. Отмыли, подкрутили, дали ходу — и привели ровно туда, где у нас пусто.

И меня в эту секунду взяло не страхом. Меня взяло стыдом — таким конкретным, горячим стыдом за работу, какого я не испытывал, наверное, лет пятнадцать. Ты, братец, слышал этот мотор три ночи назад. Ты его правильно разобрал по звуку. И ты сделал из правильного разбора вывод «не моё дело». Вот тебе теперь твоё дело, оно приехало.

Стыд я отложил в сторону, потому что на позиции от него никакого проку. Достану вечером, разгляжу.

— Слушать всем! Из ям вон! — заорал я, перекрывая мотор и стрельбу.

— Чего?! — заорал Мыльников.

— Из ям вон! — повторил я. — Ямы наши брустверами на запад, а он идёт с левой руки! Вы в них не укрыты, вы в них выставлены!

— Так яма же!

— Яма, в которой тебя видно с боку, — не яма, а мишень с подставкой! — заорал я. — Ковалёв! Гнутов! Ко мне!

Они приползли — оба, целые, Гнутов волок термос, потому что бросить казённое имущество ему в голову не пришло даже под огнём, и грязь на его локтях была уже по самые рукава, будто он всю дорогу полз, а не бежал.

Глава 2. Перевязочная



— Куда прѣшь, сюда нельзя, тут перевязочная, — сказала она, не поднимая головы, и я остановился в дверях, придерживая Прохора за локоть, потому что он не понимал, что уже дошли, и всё пытался переставлять ноги.

Изба была разгорожена надвое плащ-палаткой, и по ту сторону кто-то стонал ровно, без остановки, будто заведѣнный, а по эту сторону, на столе, сколоченном из двух дверей, лежал боец с развороченным бедром, и она стояла над ним, до локтя в крови, и говорила ему что-то мерным голосом, каким говорят детям, что не страшно, хотя было страшно, я видел это сам, потому что бедро было такое, что о нём и мне, повидавшему всякое ещё в той, другой жизни, думать не хотелось.

У порога, на охапке соломы, лежали ещё двое, ждали очереди, и один из них, пожилой, с седой щетиной и петлицами артиллериста, держал перед собой левую руку, замотанную бурой от крови тряпкой, и раскачивался взад-вперѣд, беззвучно, одними губами считая что-то, а второй, помоложе, курил самокрутку одну на двоих с санитаркой, тощей девчонкой лет семнадцати, которая сидела рядом на корточках и держала для него самокрутку у рта, потому что у него самого рук не было — то есть руки были, но обе перебинтованы до плеч, как поленья.

— Марфа, отойди от него, тебе ещё троих принимать, — крикнула фельдшерица через плечо, не оборачиваясь, и санитарка, не споря, вскочила и метнулась к двери, откуда ездовой, приземистый мужик в замасленном ватнике, уже втаскивал на носилках нового.

— Ковригин! — крикнула она снова. — Скажи, где йод, у меня руки заняты.

— Кончился йод, — сказал Ковригин из угла, где он мотал бинт кому-то на голову, спокойно, будто речь шла о погоде. — Марганцовкой обходимся, Александра Тимофеевна, я же говорил.

— Третий день говоришь, — сказала она, не отрываясь от бедра, — а йода как не было, так и нет. Скипидар хоть остался?

— Скипидар есть. Спирту нет.

— Спирту у нас с июля нет, — сказала она, и в голосе у неё была не жалоба, а просто счёт, как у человека, который давно перестал удивляться и только фиксирует, что где кончилось. — Ножницы мне тоже подай, эти совсем тупые стали, третий бинт ими рву, а не режу.

Ковригин не ответил — только молча положил другие ножницы у её локтя. Она дёрнула щекой, принимая помощь, и тут я впервые увидел её лицо — не в профиль, не мельком, а целиком, и подумал, что она совсем не такая, как я себе представлял медсестёр по книжкам и по кино той, прежней жизни. Лет двадцать пять, не больше, а под глазами тёмные полукружья, как будто их углём подвели, волосы выбились из-под косынки и прилипли ко лбу, и руки у неё были не маленькие, не белые, а крепкие, с обломанными ногтями, красные от карболки, и одна костяшка на левой была рассечена и не забинтована — видно, некогда было заняться собой.

Прохор охнул рядом со мной, и я вспомнил, зачем мы пришли: у него сквозь тряпку на плече проступила свежая кровь, потому что бинтовали его второпях там, на позиции, и повязка съехала на марше.

— Кого ведёшь? — спросила она, теперь глянув на нас, и взгляд у неё был усталый, но цепкий, как у человека, который за один взгляд оценивает, кому сейчас нужнее.

— Раненого, — сказал я. — Плечо. Осколком, ещё утром.

— Садись пока на лавку, — сказала она, кивнув на угол, где стояла грубо сколоченная скамья, — я не могу сейчас двоих одновременно, у меня руки одни. — Она снова повернулась к бедру, и я услышал, как боец на столе выдохнул сквозь зубы длинно, со свистом, а она сказала ему тем же ровным голосом: — Держись, миленький, ещё чуть-чуть, сейчас зашью, и всё, самое страшное позади.

— Позади ли, — пробормотал артиллерист от порога, ни к кому не обращаясь, и снова стал раскачиваться, и санитарка Марфа, вернувшаяся с новым раненым, присела рядом и свободной рукой погладила артиллериста по плечу, не говоря ничего, просто чтобы он почувствовал, что рядом кто-то есть.

Прохор сел на лавку, и я остался стоять, глядя, как она работает, — быстро, экономно, без единого лишнего движения, и в то же время без спешки, той спешки, что путает руки, а с какой-то особенной собранной торопливостью, которую я узнал сразу, потому что видел такую же у себя, у ротного санинструктора, у всякого, кто научился делать дело под огнём и без права на ошибку.

Она закончила с бедром, отёрла руки о фартук, весь заляпанный бурым, и повернулась к нам, но не успела шагнуть, как из-за плащ-палатки высунулся ездовой, тот, что привёз раненого, и сказал:

— Александра Тимофеевна, там ещё один, из соседней части, ногу оторвало по колено, боюсь, не довезём, если сейчас не поглядите.

— Несите сюда, — сказала она и, обернувшись ко мне, коротко бросила: — Погоди минуту.

Она ушла за плащ-палатку, и я услышал оттуда её голос, теперь другой — жёсткий, отрывистый, командный, совсем не тот, каким она уговаривала бойца на столе, и слышно было, как она распоряжается: жгут выше, ещё выше, держи так, не отпускай, я сказала держи. Ковригин тоже метнулся туда, на ходу отдав повязку недобинтованного бойца в руки Марфы, которая, оказываясь, не только курить помогала, но и бинтовать умела не хуже иного санитаря.

Прохор рядом со мной сидел бледный, зажимал плечо здоровой рукой, и я видел, что ему становится хуже от одного вида этой избы, от запаха карболки и крови, смешанного с чем-то ещё, кислым и тяжёлым, чего я не хотел называть словами.

— Держись, — сказал я ему. — Тут не до нас пока.

— Я слышу, — сказал Прохор тихо. — Слышу, как он там кричит.

Он и правда кричал, тот, с ногой, кричал сначала громко, потом всё тише, и по этой тишине, наступившей раньше, чем должна была наступить, если бы боль просто утихла, я понял то, что понял, наверное, и Прохор, и мы оба замолчали.

Она вышла минут через десять, уже без того жёсткого голоса, снова обычная, только ещё более серая лицом, чем до того, вытирая руки о край фартука, который давно уже был не белым, а тёмным.

— Не довезли бы, — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь, будто самой себе, — я и то не успела. — Она помолчала секунду, тряхнула головой, как отгоняя что-то, и снова стала деловой, той самой, что оценивает с одного взгляда. — Ну, показывай, что у тебя.

Она вытерла руки о фартук, подошла к Прохору, и он попытался вытянуться, будто перед строем, хотя рука у него висела и он побледнел так, что веснушки на носу стали видны особенно ярко.

— Кто вязал? — спросила она, сдёргивая тряпку одним движением, и Прохор охнул, а она даже не поморщилась на его боль, только на повязку. — Это же не бинт, это половина портянки. Кто вязал, спрашиваю?

— Ковалёв вязал, — сказал я. — Чем было, тем и вязал. У нас индивидуальных пакетов на отделение три штуки осталось.

— Три штуки, — повторила она, и в голосе у неё было столько горечи, что я почувствовал себя виноватым, хотя и не я эти пакеты считал. — А у меня их и того нет. Вы там думаете, бинты сами по земле растут? Каждый раз одно и то же: рвут рубаху, мотают как попало, лишь бы кровь не текла, а через сутки я эту рану заново открываю, потому что грязь занесли.

— У нас индивидуальные закончились ещё позавчера, — сказал я. — Санинструктор наш, Ковригин ваш тёзка почти, только не фельдшер, а из бойцов, показывал, как жгутом останавливать, но бинтов мы у него не спрашиваем, потому что у него их тоже нет.

— Тёзка, — повторила она, коротко фыркнув, и я не понял, обрадовало это её или разозлило больше. — У вас там что, каждый второй Ковригиным зовётся?

— Просто фамилия распространённая, — сказал я, — как Кузнецов или Иванов.

Она уже промывала плечо Прохора, и он шипел сквозь зубы, а она приговаривала тем же ровным голосом, каким говорила давешнему с бедром:

— Терпи, терпи, боец, сейчас, вот сейчас. Осколок неглубоко сидел, тебе повезло.

— Мне уже говорили сегодня, что повезло, — сказал Прохор дрожащим голосом, — только я как-то не чувствую.

Она вдруг хмыкнула, коротко, не улыбкой, а именно тем звуком, каким смеются люди, у которых на смех нет времени, и снова стала серьёзной, будто спохватилась.

— Держи руку так. — Она перебинтовывала быстро, экономными движениями, без лишнего оборота, и я видел, что она умеет считать бинт на ходу, прикидывать, сколько его хватит на следующего. — Вот. До завтра дотерпит, а завтра пришлёте его снова, я посмотрю, не загноилось ли.

— А если завтра нельзя будет прийти? — спросил я. — Мало ли что.

Она подняла на меня взгляд, и что-то в её лице на секунду изменилось, стало серьёзнее, будто она услышала не вопрос про перевязку, а другой, который я не задавал вслух.

— Тогда пусть кто-нибудь другой посмотрит рану сам и решит, менять повязку или ещё день продержится. Признаки такие: если рана мокнет и пахнет сладко, тухло, то не жди, неси сюда любым способом, хоть на себе тащи. А если просто болит и сочится немного — терпит.

— Сладко, — повторил Прохор, морщась. — Это как?

— Узнаешь — поймёшь, — сказала она сухо, — и я тебе не советую узнавать.

Она отступила на шаг, оглядела свою работу и меня заодно, будто спрашивая, чего я ещё тут стою, но не сказала этого вслух, а просто ждала.

— Мы ещё табак принесли, — сказал я, доставая из-за пазухи кисет, который наскребли всей ротой, немного, но что было. — И бинтов раздобыли, немецких, трофейных, индивидуальный пакет у убитого нашли, целый, неначатый. Думали, вам сгодится.

Она посмотрела на кисет, потом на меня, и в глазах у неё что-то дрогнуло, не радость, а какое-то удивление — что кто-то ещё, кроме них самих, думает о том, чего не хватает медсанбату.

— Табак мне без надобности, я не курю, — сказала она, — а вот раненым моим сгодится, они как из строя выходят, так первым делом курить просят, будто это лечит. Бинты давай сюда, немецкие даже лучше наших, ткань плотнее.

Я протянул свёрток, и наши руки соприкоснулись на секунду, её пальцы были холодные, несмотря на то что она весь день их в тёплой воде держала, и я подумал: вот это и есть война, не то что в кино показывают, а вот это — холодные пальцы фельдшерицы, которая с утра до ночи не выходит из этой избы.

— Александра Тимофеевна у нас с самого начала, — сказал Ковригин, подходя, поправляя очки с треснутым стеклом, которое держалось на нитке за дужку. — Из первого пополнения медицинского, ещё в июле прибыла. Многих на ноги подняла.

— Не всех, — сказала она коротко, и я понял, что за этим коротким словом стоит что-то, о чём она говорить не будет, и не спросил.

— Она третьи сутки без сна почти, — сказал Ковригин, будто оправдываясь за неё перед нами, — со вчерашнего утра прилегла на час, я силком уложил, а она проснулась через сорок минут и снова к столу. Я ей говорю — Саша, ты так и сама у меня на этом столе окажешься, а она не слушает.

— Тимофей Кузьмич, — сказала она с укором, но без злости, — не рассказывай посторонним, сколько я сплю, это никого не касается.

— Касается, — сказал Ковригин тихо, и в его ровном голосе на секунду прорвалось что-то живое, — если ты руками дрожать начнёшь во время операции, тогда касается всех, кто на столе лежит.

Она не ответила ему, только сжала губы и снова повернулась ко мне, будто хотела уйти от этого разговора поскорее.

— Ковригин Тимофей Кузьмич меня всему учит, — сказала она, будто в отместку за то, что он про неё лишнее сказал, — говорит, я ещё зелёная, институтов не кончала, только училище.

— Училище фельдшерское, а не институт, разница есть, — согласился Ковригин безо всякой обиды, — только ты, Саша, уже третий месяц тут работаешь и не хуже иного врача режешь. Я видел, как ты в августе руку человеку спасла, когда её уже списывать хотели.

Она отмахнулась от похвалы рукой, в которой всё ещё держала окровавленный тампон, и повернулась ко мне снова, деловито.

— Скажи своему сержанту, — сказала она, — что если он ещё раз пришлёт бойца с такой повязкой, я лично приду к вам на позицию и покажу, как правильно бинтовать, независимо от того, какая там обстановка. Слышишь?

— Скажу, — ответил я. — Только он не поверит, что вы сами дойдёте, у вас тут дел по горло.

— А вот и дойду, — сказала она, и в голосе у неё зазвенела упрямая нотка, — я и не таких, как ваш сержант, на место ставила.

— Он тяжёлый человек, — сказал я. — Сорок пять лет, сорок из них, кажется, спорит с начальством. Но за бойцов горой стоит.

— Значит, поймём друг друга, — сказала она, и тут вдруг, неожиданно для самой себя, засмеялась — не тем коротким смешком, что был раньше, а настоящим, коротко и легко, будто

кто-то на секунду снял с неё усталость, и я увидел, какое у неё лицо, когда оно не собранное и не измученное, а просто молодое.

— Чему смеётесь? — спросил я.

— Тому, что вы говорите про своего сержанта, как про медведя, а сами явно такой же, — сказала она. — Тоже небось спорите с начальством.

— Есть немного, — сказал я, и Прохор, всё ещё бледный, но прибодрившийся оттого, что боль отступила, тихо фыркнул рядом.

— Он с командиром взвода поспорил однажды, — сказал Прохор неожиданно, встречая, — насчёт того, где окопы копать, и оказался прав, между прочим.

— Прохор, — сказал я.

— А что, правда же, — сказал он, и по его лицу было видно, что боль отпустила настолько, что он уже готов рассказывать истории, лишь бы не молчать.

Из-за плащ-палатки снова раздался стон, и она обернулась туда мгновенно, вся собранность вернулась к ней разом, как будто кто-то щёлкнул выключателем.

— Иди, — сказала она, но уже другим тоном, — мне работать надо. Табак раздам, скажи спасибо роте. И бинты запомню, кто принёс.

Она уже отворачивалась, но вдруг остановилась и, порывшись в сумке, висевшей у неё на боку, достала небольшой свёрток и сунула мне в руки.

— Возьми. Это сульфидин, у нас с запасом привезли, у вас на передовой такого нет, а рана загноится — хуже смерти мучение. Скажи сержанту, чтоб хранил как золото и без крайней нужды не тратил.

— А как я объясню, откуда взял? — спросил я.

— Скажи, фельдшерица медсанбата дала, добрая душа, — сказала она сухо, но с тем же отголоском смеха в голосе, — и что она надеется получить обратно свои бинты, когда у роты будет запас.

— Это не обещание, — сказал я, — это так, пожелание.

— А ты пожелание в обещание преврати, — сказала она, — раз шутник такой. — И скрылась за плащ-палаткой, и я услышал, как её голос снова стал ровным и деловым: — Ну что, боец, сейчас посмотрим...

Мы с Прохором ещё стояли у выхода, когда мимо, поддерживаемый Марфой, прошёл тот пожилой артиллерист с перебинтованной рукой, уже готовый к отправке дальше, в тыл, и, проходя мимо, он остановил на мне взгляд и вдруг сказал хриплым, простуженным голосом:

— Ты ей табак принёс?

— Принёс, — сказал я.

— Правильно, — сказал он, кивая своим мыслям. — Она тут за всех нас держится, а ей никто спасибо не говорит толком, только требуют — перевяжи, зашей, вылечи. — Он помолчал, покачиваясь на ходу от слабости, и добавил: — Ты запомни это место, парень. Сюда возвращаться придётся ещё не раз, такая уж у нас жизнь тут.

Он ушёл, опираясь на Марфу, а я подумал, что старик прав больше, чем сам понимает, хотя и не мог знать, о чём я на самом деле думаю, стоя в этой избе, пропахшей карболкой и кровью.

Ковригин проводил нас до двери избы, придерживая Прохора за здоровую руку, и на пороге сказал негромко, глядя мне в глаза сквозь треснутое стекло очков:

— Ты заходи ещё, когда с делом. Она злая на язык, но это от усталости, не со зла. Хорошая фельдшерица, каких поискать. — Он помолчал и добавил, будто между прочим: — Спрашивала уже про вашу роту раньше, кто такие, откуда. Ты не подумай чего, просто работа у неё такая — знать, кого лечит.

— А вы сами сколько тут без смены? — спросил я его, потому что заметил, как у него самого руки чуть подрагивали, когда он поправлял очки.

— Я с сорокового, — сказал Ковригин просто, будто это ничего не значило. — Привык. А вот она нет, привыкнуть к этому нельзя, можно только научиться делать вид. Ты ей не говори, что я тебе это сказал.

Я не стал спрашивать, что он имел в виду про роту, потому что и так понял, а он усмехнулся одними уголками губ, как человек, который видит вещи наперёд других, и вернулся в избу, где его снова звали.

Мы с Прохором пошли назад той же дорогой, вдоль воронок и обугленных стволов, и где-то на полпути земля под ногами вздрогнула коротко, отдалённым гулом — где-то за лесом бухнуло раз, другой, и мы оба присели по привычке, хотя стреляли явно не по нам, а куда-то дальше, к передовой.

— Опять начали, — сказал Прохор, разгибаясь и морщась от боли в плече. — Как думаешь, там, в медсанбате, тоже слышат?

— Слышат, — сказал я. — И считают, сколько к ним теперь привезут.

Он посмотрел на меня и ничего не ответил, только зашагал быстрее, будто хотел поскорее уйти от этой мысли, и я пошёл следом, тоже стараясь не думать о том, сколько ещё раз нам с ним придётся стоять в этой избе с плащ-палаткой посередине, ожидая, пока чужие руки, красные от карболки, займутся то одним, то другим, а на полу будет накапливаться солома, пропитанная тем, что уже никакими бинтами не остановить.

— Смешная она, — сказал вдруг Прохор, когда мы уже подходили к своим позициям.

— Кто? — спросил я, хотя прекрасно понял, о ком речь.

— Да фельдшерица эта. Строгая, а смешная. — Он покосился на меня. — Тебе табак не жалко было отдавать?

— Не жалко, — сказал я. — Табак — дело наживное. А вот сульфидин этот я сержанту с рук на руки сдам и скажу, что достал сам, чтоб не расспрашивал, откуда.

— А чего скрывать-то? — удивился Прохор.

— Того, — сказал я, — что сержант у нас за каждой мелочью счёт ведёт, кто кому что должен, и мне неохота, чтобы он записал в этот счёт медсанбатовскую фельдшерицу. У неё своих забот полон рот.

Прохор посмотрел на меня искоса и больше ничего не сказал, только всю дорогу до расположения улыбался как-то по-своему, будто знал что-то, чего я сам себе ещё не признавал, и я решил, что лучше сделать вид, будто не замечаю этой улыбки, потому что объяснять было нечего, а разговор всё равно вышел бы длиннее, чем требовалось.

Сержанту я и вправду сказал, что раздобыл лекарство сам, обменял на трофейный бинт, и Бортников только буркнул, что порядок, но глянул на меня чуть дольше обычного, будто у него в голове тоже что-то щёлкнуло, а вслух он этого щелчка не выдал, только приказал беречь сульфидин как патроны в последнем диске.

— А плечо этому, — Бортников кивнул на Прохора, всё ещё бледного, но уже почти весёлого от того, что дошёл своими ногами, — завтра сам поведёшь смотреть, или снова я тебя отряжать должен?

— Сам поведу, — сказал я, и Бортников хмыкнул себе под нос, коротко, одними уголками рта, точь-в-точь как Ковригин там, в избе, и я подумал, что, наверное, все люди, которые повидали слишком много, начинают усмехаться одинаково — не потому что смешно, а потому что иначе не выдержишь.

Глава 3. Встать



— Встать! — сказал Бортников, и в голосе у него было столько же командной силы, сколько в топоре, воткнутом в пень: топор не кричит, он просто стоит и всем ясно, что дальше будет.

Боец поднялся медленно, будто у него не колени сгибались, а какие-то ржавые петли на дверях сарая. Молодой, моложе меня — хотя куда уж моложе восемнадцати, — но какой-то весь скукоженный, словно его пропустили через пресс и забыли расправить. Шинель на нём чужая, не по росту, рукава закатаны в валик, полы обмётаны засохшей грязью до самых колен. Я его видел вчера вечером — тащился по дороге от Уваровки один, без винтовки, без вещмешка, с расквашенным лицом, и никто его не остановил, потому что было не до того: тянули раненого Селиванова через воронки. Тогда я подумал мельком — мало ли, отбился человек, дойдёт до своих, — и забыл про него, а сейчас вот стоял и вспоминал, что мог тогда окликнуть, спросить, откуда, а не окликнул, шёл мимо, потому что тащил чужой вес на плечах и своего хватало.

— Фамилия, — сказал старшина Пантелеев. Он сидел на снаряжном ящике, обмотки у него сбились, шапка сдвинута на затылок, и весь он был какой-то мятый, будто ночь спал под дождём стоя. Голос ровный, без нажима. От этой ровности было холоднее, чем от крика. Он держал в руке карандаш и клочок бумаги, но не писал, просто вертел карандаш между пальцами, будто грел их об дерево.

— Рядовой Сушков, — сказал парень и облизнул губы, потрескавшиеся, в белых чешуйках. — Тимофей.

— Откуда часть?

— Сто восемьдесят второй...

— Сто восемьдесят второй третьего дня разбит под Семлёво, — сказал Пантелеев не то чтобы зло, а как будто зачитывал по бумажке погоду. — Ты откуда шёл?

— От Семлёва и шёл, — сказал Сушков, и голос у него дрогнул на последнем слове так, что стало ясно: сейчас или заплачет, или замолчит совсем.

Опарин стоял рядом со мной, привалившись плечом к сосне, и жевал травинку — откуда он её вытащил из мокрой хвои, одному чёрту известно, у Опарина всегда что-то во рту, если не самокрутка, то щепка, то травинка. Пальцы у него были красные, потрескавшиеся у ногтей, и он тёр их одна о другую, не переставая, будто хотел согреть или просто не мог держать руки без дела.

— Оставил позицию, — сказал он тихо, мне на ухо, но так, чтобы и Дьячков слышал, тот стоял по другую сторону, притопывая на месте — ноги у него стыли в сырых сапогах, что были на размер велики, и он всегда так делал, стоя без дела. — Понятно дело. Все хотят жить. Только у нас тоже все хотят, а стоим.

— Ты его сперва спроси, что там было, — сказал Дьячков, не поворачивая головы, только скосив глаза в сторону Опарина. — Может, там от роты один он и остался.

— А хоть бы и один. Один остался — умри на месте или доложи по команде, а не беги по дороге, как заяц драный.

— Тебе легко говорить, ты в окружении не был, — не унимался Дьячков.

— А ты был? — окрысился Опарин, сплюнув травинку и тут же выкопав из кармана новую, потрёпанную, с прошлого раза. — Оба мы не были, вот и молчи, коли не знаешь.

— Так я и молчу, только не про то, что человек виноват заранее.

Хвостов молчал. Он вообще редко говорил, а тут стоял, руки за спиной, ладони одна в другой, и я видел, как он время от времени незаметно потирает большим пальцем мозоль на левой руке, привычка, оставшаяся от топорщика, — и смотрел на Сушкова так, как смотрел, наверное, на бревно, которое надо было решить: годится в сруб или в печку. Лицо у него было спокойное, но я видел, как у него дёрнулась щека, когда Пантелеев спросил про винтовку.

— Винтовку где оставил?

Сушков не ответил. Опустил голову. Плечи у него тряслись — не от холода, холод холодом, а от чего-то другого, что колотит человека изнутри и наружу не выходит криком, а выходит только дрожью. Руки у него висели вдоль тела, пальцы скрючены, и я заметил, что ногти на них синие, не то от холода, не то от того, что он их грыз всю дорогу, пока шёл.

— Там осталась, — сказал он наконец. — В воронке. Я... я упал в воронку, когда миномёт бил. Меня землёй завалило по пояс. Я откопался, а винтовки не нашёл. Темно было.

— И побежал, — сказал Пантелеев.

— Пошёл, — сказал Сушков, и в этом слове было столько унижения, что я почувствовал, как у меня самого сводит челюсть, будто мне самому сейчас предстояло отвечать за чужой побег. — Пошёл искать своих. Я не знал, куда идти. Кругом стреляли. Я две ночи шёл.

— Две ночи, — повторил Пантелеев, глядя на бумагу в своей руке, хотя писать было пока нечего. — И ел что?

— Воду из канавы, — сказал Сушков. — Один раз у деревни какая-то бабка вынесла картофелину печёную. Одну на двоих — я не один шёл сперва, со мной ещё один был, из миномётного, я фамилии не спросил, он потом отстал, я думал догонит, не догнал.

По очереди прошёл шумок — тихий, но заметный: кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то кашлянул в кулак. Гнутов, стоявший чуть позади, вытянул шею, разглядывая Сушкова с тем же жадным любопытством, с каким разглядывал всё новое и страшное, но, поймав взгляд Бортникова, тут же сделал вид, что смотрит в сторону, на лес.

Бортников стоял чуть в стороне, скрестив руки, тяжёлый, как этот вот ящик, на котором сидел Пантелеев. Он смотрел на Сушкова не с ненавистью и не с жалостью, а с каким-то узнаванием, и я вспомнил его лицо в ту ночь, когда он сам рассказал мне про Ключева. В августе его послали проверить фланг по чужому приказу, а фланга там уже не было, только немцы. По словам ребят, Бортников тогда тоже стоял вот так, скрестив руки, и слушал собственный доклад комбату, и в глазах у него было то же самое, что сейчас у Сушкова — пустой измор человека, который уже всё сказал и больше сказать нечего.

— Сколько тебе лет, Сушков? — спросил Бортников вдруг, и голос у него был тихий, тише, чем у Пантелеева, и от этого страшнее.

— Девятнадцать.

— Из каких мест?

— Калужские мы. Деревня Уколово.

— Отец есть?

— Помер в тридцать третьем.

— Мать?

Сушков не ответил, только мотнул головой, и по этому движению стало ясно: мать есть, и Сушков думает про неё сейчас, стоя тут на мокрой земле перед людьми с винтовками, и от этой мысли у него совсем подкосились ноги, он качнулся, и Хвостов — вот тебе и молчун — быстро протянул руку, поддержал его под локоть, не глядя ни на кого, просто чтобы не упал. Рука у Хвостова была широкая, с буграми мозолей, и держал он крепко, но осторожно, как держат доску, чтобы не расколоть.

— Отпустите руку, — сказал Пантелеев Хвостову негромко. Не приказ, а просьба, усталая совсем.

Хвостов не отпустил сразу. Секунду подержал, потом отпустил, отступил на шаг, и лицо у него стало опять непроницаемым, как кора. Но я заметил, что он не отошёл дальше двух шагов, остался стоять почти вплотную к Сушкову, будто на всякий случай.

— Ты бы, старшина, дал ему хоть присесть, — сказал вдруг Опарин неожиданно для самого себя, вынув травинку изо рта. — Стоит, качается, не ровен час свалится, и что тогда — упавшего судить сподручнее?

— Сядешь после, — сказал Пантелеев, но в голосе не было злобы, скорее усталость, что и это ему теперь решать.

Я стоял и молчал, а внутри у меня шёл счёт, который я не мог остановить, потому что этот счёт я вёл всю прошлую жизнь. Трибунал полевой, без затяжки, без адвоката, без бумаг — только то, что видел старшина, только то, что сказал сам боец. У меня в прошлой жизни таких Сушковых проходило через руки не один и не два — и с той стороны, где судят, и с той, где стоят под дождём. Я помнил лица — не этих конкретных, других, из другой войны, но лица были те же самые, потому что страх у людей всегда один и тот же, меняется только форма и оружие вокруг. Я знал, чем это кончается в восемь случаев из десяти. Знал и то, что вторая пуля здесь редкость — время такое, каждый штык на счету, — но знал и то, что бывает всякое, особенно если рядом заградчасть или если старшина решит для острастки роты. Знал ещё одну вещь, которую здесь никому не скажешь: что кольцо под Вязьмой может замкнуться в ближайшие дни, и тогда таких Сушковых, идущих без винтовки по дороге, будут тысячи, десятки тысяч, и разбираться с ними будет некому и некогда, и кто-то из этих тысяч выживет только потому, что его никто не остановил спросить фамилию.

Я мог сказать слово. У меня оно стояло в горле, готовое, аккуратное — как сказать так, чтобы Пантелеев услышал не мольбу, а расчёт: что человек не дезертировал, что он два дня шёл к своим, что оружие оставил не по трусости, а по завалу землёй, что рота, которая расстреливает своих у себя на глазах, полгода спустя сама бежит, потому что боится не немца, а собственных. Я знал, как это сказать — коротко, по-военному, без соплей, чтобы не выглядело заступничеством сопляка перед старшиной. Но я знал и другое: сказать это — значит показать, что я понимаю в этом деле больше, чем восемнадцатилетний Гринёв должен понимать. А тогда пойдут вопросы. А вопросы мне нельзя. Я стоял и чувствовал, как это знание давит мне на нёбо изнутри, как будто я держу во рту раскалённый уголёк и должен молчать, чтобы не обжечься окончательно.

— Ты чего молчишь, Гринёв? — спросил вдруг Дьячков, ткнув меня в бок. — У тебя лицо, будто ты знаешь что.

— Ничего я не знаю, — сказал я, и голос у меня вышел ровнее, чем было внутри. — Смотрю.

— А смотреть тут долго ли, — сказал Опарин, сплюнув травинку. — Дезертир и есть дезертир. Мы тут который день под немцем, спим по два часа, у кого руки не отмерзают, у того душа отмерзает, а этот с дороги подобрался, без винтовки, и рассказывает нам сказки про воронку.

— Ты сам говорил в начале месяца, что заснул на посту, — сказал Дьячков тихо, но так, что услышали все. — Забыл?

Опарин побагровел, и щетина на его щеках, седая уже наполовину, будто вздыбилась от гнева.

— Заснул — не то же самое, что оставил позицию и ушёл! Я стоял на месте, дурья твоя голова, я стоял, только глаза сами закрылись на минуту, а этот вон где — за пятнадцать вёрст отсюда его подобрали!

— А если бы тебя тогда за тот сон под трибунал, ты бы что запел? — не отставал Дьячков.

— Я бы... — начал Опарин и осёкся, потому что и правда нечего было ответить, кроме как признать: запел бы то же самое, что и этот Сушков, — просил бы, оправдывался бы, дрожал бы коленками. Он отвернулся, стал зачем-то поправлять обмотку, хотя она сидела ровно, только чтобы не смотреть никому в глаза.

— Ладно тебе, Дьячков, — вставил вдруг Гнутов, переминаясь с ноги на ногу. — Чего человека под руку колешь, и так тошно.

— А я не колю, я правду говорю, — огрызнулся Дьячков, но уже без прежнего запала, и стало видно, что и ему самому не по себе от собственных слов.

Бортников поднял руку — не крикнул, просто поднял, и оба замолчали, потому что рука у Бортникова весила больше, чем крик другого человека.

— Хватит, — сказал он. — Не нам решать.

— А кому? — спросил Пантелеев, глядя на него снизу вверх, и в этом взгляде мелькнула не злость, а что-то похожее на просьбу: помоги решить, чёрт бы вас всех побрал, я сам не хочу.

— Комиссару доложить надо, — сказал Бортников. — Или в особый отдел, раз такое дело. У нас тут не трибунал, старшина. Ты не имеешь права сам.

— А кто имеет? — спросил Пантелеев устало, снял шапку, провёл ладонью по лбу, хотя утренний холод уже прихватил землю, и от его лба, кажется, и правда шёл пар. — Особист за двадцать вёрст, в штабе полка, а хозяйство наше вот-вот отрежут дорогой на Вязьму, тебе не хуже моего известно. Пока я до особиста дойду, дороги той не будет.

Он замолчал, глядя на Сушкова, который стоял, покачиваясь, глаза красные, губы синие от холода и, кажется, уже не от страха — страх у него, видно, весь вышел за две ночи по разбитой дороге, остался только пустой измор.

— Ты жрал что последние дни? — спросил вдруг Пантелеев.

Сушков помотал головой.

— Дьячков, дай ему сухаря, — сказал Пантелеев, и в этом приказе было больше, чем в любом слове про трибунал: старшина, у которого рука не поднимается судить голодного, сначала кормит, а уж потом решает, что с ним делать дальше.

Дьячков полез в вещмешок не сразу — секунду помедлил, будто спорил сам с собой, — потом всё же достал сухарь, протянул Сушкову, и рука у него при этом дрогнула, коротко, почти незаметно. Тот схватил сухарь обеими руками и стал грызть быстро, жадно, роняя крошки на грудь, и от того, как он ел — по-детски, некрасиво, спеша, — вся рота как-то разом опустила плечи, будто вздохнула вместе. Даже Опарин отвёл глаза, а Гнутов сглотнул, будто у него самого во рту пересохло от одного вида этой жадности.

— Свяжем его до утра, отправим с посыльным в штаб батальона, — сказал Пантелеев. — Пусть там решают. Не наше это дело — стрелять своего у себя на глазах. Не хочу такого на роте.

Он сказал это так просто, будто речь шла не о человеческой жизни, а о том, кому дежурить у костра ночью, но я видел, чего это ему стоило: у него дрогнули пальцы, когда он снова надевал шапку, и он не смотрел на Сушкова, отвернулся, точно стыдился, что вообще пришлось решать.

Хвостов подошёл первым, снял с себя верёвку, которая у него всегда была намотана на пояс — плотницкая привычка, — и стал вязать Сушкову руки спереди, не сзади, слабо, не до синяков, только чтобы для порядка. Узел он вязал тем же движением, каким вязал бревно к бревну на срубе — быстрым, точным, без лишнего усилия, и я подумал, что для человека, привыкшего мерить мир деревом и топором, этот узел на живых руках, наверное, самая тяжёлая работа, какую он делал за последний месяц. Сушков не сопротивлялся, только смотрел на свои руки, как на чужие.

— Не реви, — сказал ему Хвостов тихо, почти неслышно. — В штабе разберутся. Может, обойдётся ещё.

Бортников стоял и смотрел, как вяжут узел, и я видел на его лице то самое узнавание, ту тень августа, того Клюева, которого он потерял из-за чужого решения и с которым до сих пор разговаривал ночами, как рассказывал мне однажды в темноте, не глядя в глаза. Он подошёл, положил Сушкову руку на плечо — тяжёлую, ту самую, от которой у бойцов подгибались колени, — и сказал одно слово:

— Держись.

Больше он ничего не сказал. Развернулся и пошёл к костру, тяжело переставляя ноги в обмотках, и я видел, как у него подрагивают лопатки под шинелью — то ли от холода, то ли от того же, от чего дрожал весь этот вечер.

Опарин отвернулся первым, ушёл за бруствер, будто ему срочно понадобилось проверить сектор обстрела, хотя проверять там было нечего, мокрая трава да сосны. Дьячков остался стоять, глядя, как Сушкова уведут двое из соседнего взвода, — и на лице у него было написано облегчение пополам со стыдом, что облегчение вообще возможно, когда рядом такое. Он поднял было руку, будто хотел ещё что-то сказать вдогонку, но опустил её и промолчал.

Прохор, стоявший всё это время чуть в стороне и не проронивший ни слова, вдруг подошёл ко мне и спросил тихо, дёргая меня за рукав:

— Андрюх, а если б я так вот, без винтовки, шёл — меня бы тоже так? Связали бы?

— Тебя бы тоже, — сказал я. — Только ты бы не пошёл, ты бы вещмешок скорее потерял, чем винтовку.

Прохор посмотрел на меня серьёзно, без тени шутки, и я понял, что для него это не шутка была вовсе, а настоящий страх — примерить на себя эту связанную верёвкой судьбу, — и мне стало не по себе от собственных слов, слишком лёгких для такого вопроса.

Гнутов, всё это время топтавшийся рядом, вдруг сказал негромко, ни к кому вроде не обращаясь:

— А у меня брат так же... под Смоленском ещё летом. Тоже отбился от своих. Мать пишет, до сих пор без вести числится. Может, и он вот так же по дороге шёл, а его кто-то встретил и не связал, а пристрелил сразу, для порядка.

Все замолчали, и никто не нашёлся, что на это ответить, а Гнутов, будто устыдившись сказанного, отвернулся и пошёл к землянке, ссутулившись, впервые за всё время, что я его знал, без своей обычной суетливой бодрости в походке.

Я так и не сказал того слова, что стояло у меня в горле. Не потому что струсил — я и похуже видал, чем реакцию старшины на слишком умного бойца, — а потому что понял: Пантелеев уже решил так, как решает человек, у которого совесть ещё жива, и моё слово тут было бы лишним, разве что для собственного облегчения. Может, я соврал себе. Может, просто испугался вопроса «откуда ты знаешь». Я стоял и смотрел, как Сушкова со связанными руками ведут через размокшее поле к дороге на штаб, и грязь тянулась за его сапогами так же, как

за моими, и небо было такое же серое, как над всеми нами, и я подумал, что где-то там, за двадцать вёрст, сидит человек, который решит его судьбу так же устало и без радости, как решил бы её я, если бы дали мне.

Ветер потянул с запада, принёс запах гари — не близко, где-то там, за лесом, что-то ещё горело со вчерашнего дня, — и я поднял воротник шинели, чувствуя, как холод забирается за шиворот, и пошёл следом за Бортниковым к костру, туда, где было хоть немного тепла и хоть немного не нужно было ничего решать.

Глава 4. Я читал землю



Я лежал на животе и в эти двадцать секунд делал то, ради чего, наверное, меня сюда и закинуло.

Я читал землю.

Ровное место — глазу приятно, а телу вредно. Глаз ищет ровное, потому что на ровном удобно копать, ставить, ходить. Тело хочет неровности: складку, промоину, взлобок, борозду, канаву, ямку от вывернутого пня. Всё, что даёт хоть ладонь превышения между тобой и стрелком, — твоё.

И вот я лежал, щёкой в мокрой траве, чувствуя, как холод земли забирается под воротник, и видел этот участок так, как его никто в роте не видел два месяца: не как «плохое место для окопов», а как готовый, уже вырытый природой рубеж, только вырытый не по-нашему.

Промоина. Она шла наискось вдоль фланга — старая, весенняя, метров на тридцать, глубиной в полколена, а местами по колено. По нашим сентябрьским понятиям — овражек, помеха, обходить. По моим — траншея. Гнилая, мелкая, но идущая ровно поперёк того направления, откуда сейчас лезли. То есть развёрнутая правильно — в отличие от наших ям.

Взлобок с сухим быльём — слева, шагов сорок. Он давал полтора-два штыка превышения над подходом от перелеска, и с него простреливалось всё, по чему сейчас ползли эти двойки.

И третье, что я увидел и что мне понравилось больше всего: между промоиной и взлобком лежало голое, вылизанное ветром пространство шагов в шестьдесят. Через него они должны были пройти обязательно, потому что иначе им пришлось бы забирать далеко влево, под открытое поле.

— Так, — сказал я. — Всем — из ям в промоину. Ту, что наискось идёт, вон, где былье жёлтое. Ползком, на локтях, по одному. Мыльников — первый.

— Гринёв, там же мелко!

— Там мелко, но там ты боком к ним, а не грудью, и там край земляной, а не осыпавшийся! — крикнул я. — Мыльников, пошёл! Не думай, ползи, думать буду я, у меня это лучше выходит!

Он пополз, вжимаясь в землю, разбрасывая перед собой руки, — ругаясь так, что мне на секунду стало легче на душе, потому что человек, который ругается, не паникует. Каждое слово у него вылетало вместе с паром изо рта, коротко, зло, в такт движению локтей.

— Ковалёв, — сказал я. — Ты пойдёшь на взлобок. Вон тот, с былём. Один. Заляжешь за гребнем — не на гребне, слышишь, не на гребне, а за ним, и стрелять будешь, чуть подавшись вправо, из-за края, а не сверху. Твоё дело — бить по тем, кто побежит через голое место. Не спеша. По одному.

— А если полезут на меня? — спросил Ковалёв, и рыжие брови у него сошлись к переносице.

— Тогда ты орёшь, и мы тебя выручаем, — сказал я. — Ковалёв, ты у меня там один, я знаю, что это скотство. Но если ты сядешь туда, они через открытое не побегут, а если побегут — ты им это место закроешь. Возьмёшь?

Он посмотрел на этот взлобок долгим тяжёлым взглядом. Ползти было шагов сорок под огнём.

— Возьму, — сказал он. — Патронов дай.

Ему сунули две обоймы, и он спрятал их в кулак, будто боялся уронить в грязь. Он уполз, и полз он красиво — я даже залюбовался, — по-крестьянски, тяжело, но низко, вжимаясь в каждую борозду, локти работали враскачку, шинель на спине то и дело топорщилась горбом, когда он подтягивал ноги.

— Гнутов, — сказал я.

— Тут!

— Ты со мной, в промоине, правый край. Ты у нас самый громкий. Твоя задача — быть громким.

— Как это? — Он даже привстал на локте от удивления, забыв пригнуться.

— А вот так. — Я привстал на локте сам, показывая. — Слушай сюда, дело важное. Их там человек двадцать. Нас шестеро. Если они посчитают нас по голосам и поймут, что нас шестеро, — они встанут и пойдут в рост, и всё, и мы кончились. А если они будут думать, что нас тут взвод, — они будут идти осторожно, по двойкам, и потратят на нас двадцать минут.

— Так я один за взвод не наору.

— Ты не ори, — сказал я. — Ты командуй.

— Кем?! — Гнутов оглянулся, будто искал за спиной невидимых бойцов.

— Никем, — сказал я. — Голосом. Ты будешь кричать команды влево и вправо, будто у тебя там люди. Кричи разное: «третье отделение, левее!», «пулемёт, не спеши!», «Семёнов, подсумок!». Понял? Главное — имена. Имен побольше, разных, и разными голосами, если сможешь.

Гнутов посмотрел на меня, и глаза у него сделались круглые и счастливые, будто ему только что подарили самую лучшую игрушку на свете.

— Гринёв, — сказал он с восторгом, — так это ж враньё.

— Это, Федя, не враньё, — сказал я. — Враньё — это когда ты своим врёшь. А когда ты им — это военная хитрость, за неё ордена дают.

— Ордена?

— Ну, или кашу.

— Кашу тоже хорошо, — сказал он и заорал в белый свет, привстав на локте, срывая голос с первого же слова: — Втор-рое отделение! Левее принять! Кузьмин, куда прёшь!

Получилось у него сразу и хорошо, потому что Гнутов и без немцев весь день орал имена, а тут ему разрешили. Он вошёл во вкус к третьей минуте: у него на фланге завёлся не только Кузьмин, но и какой-то Терентьев, которому он обещал по шее, и голос его метался от команды к команде, то грозный, то насмешливый, будто он и правда управлял невидимым взводом.

Дальше пошла работа.

В самой работе ничего красивого не было — красивое в бою придумывают потом, за столом.

Мы легли в промоину — шестеро, вдоль, с интервалом в пять-шесть шагов, локоть к локтю с землёй, — и стали работать по перебежкам. Правило я дал одно и повторял его каждые полминуты, пока не охрип: не бей по бегущему, бей по лежащему.

— Гринёв, да по бегущему же ловчее!

— По бегущему ты промажешь и себя выдашь! — орал я, чувствуя, как саднит горло от холодного воздуха. — Он упал — он лежит на месте, он никуда не денется, он думает, что его не видно! Вот по этому месту и бей, спокойно, с упора!

Это не моя выдумка и не хитрость из будущего. Это простая арифметика попаданий, которую в моё время знали все, а тут её знал Опарин — но Опарина рядом не было, он остался на правой линии, — и потому пришлось объяснять.

Через минуту это дало первый счёт.

Мыльников — ноющий, мокроногий Мыльников, левша, которому мы вчера ночью рыли карман под левый локоть, — уложил одного из двойки прямо в момент, когда тот залёг за кочку. Просто дождался, пока тот ляжет, затаил дыхание на секунду и всадил в кочку чуть выше того места, где по логике должна была быть спина.

— Есть! — заорал Мыльников, и лицо у него дёрнулось не то торжеством, не то испугом собственной удачи. — Гринёв, есть!

— Не ори, — сказал я. — Гнутов орёт за всех. Работай.

Ганомаг ударил через полторы минуты.

Он не вышел на открытое — он был умный, он стоял между стволами и бил оттуда. Пулемёт у него работал короткими, по десять-двенадцать, и первая же очередь прошла по нашим сентябрьским ямам.

Они били по пустым ямам. По тем самым, откуда я их выгнал сорок секунд назад.

Земля там встала стеной, полетели куски слежавшегося бруствера, и звук был такой, будто по железной бочке сыпанули гравием. Комья долетали до промоины, и один шлёпнулся мне на спину, холодный, тяжёлый, и я не сразу понял, что это не осколок.

— Ох ты, — сказал Мыльников тонко, каким-то не своим голосом.

Он лежал в промоине и смотрел, как разносит его яму, — ту, в которой он сидел десять минут назад и в которой ему было мокро.

— Мыльников, — сказал я.

— А?

— Молчи и работай.

— Гринёв.

— Ну?

— Ноги-то у меня всё равно мокрые, — сказал он и заплакал, коротко, на два всхлипа, лицо сморщилось, как у ребёнка, и тут же вытер лицо рукавом и стал стрелять, будто устыдился собственных слёз и решил их этим заглушить.

И вот тут я остался без плана.

Вот это было самым важным — вовсе не то, кто в кого попал.

У меня было шесть человек, промоина, взлобок с Ковалёвым, оружий Гнутов и никаких средств против брони. Никаких. Ни одной гранаты подходящей, ни бутылки, ничего. Против этой коробки у меня были винтовки, а винтовки против неё — это было всё равно что спорить с забором.

В моей прежней жизни в этот момент я говорю два слова в эфир и через сорок секунд эта коробка перестаёт существовать, и я даже не поднимаю головы посмотреть.

Здесь у меня в кармане пуговица.

И я почувствовал, как во мне поднимается очень знакомая, очень нехорошая штука — не страх, страха не было, а злая растерянность профессионала, у которого забрали инструмент. Она хуже страха, потому что заставляет делать глупости из желания хоть что-нибудь сделать. Руки у меня сами стиснули цевья винтовки, будто хотели сделать хоть что-то, не дожидаясь головы.

Я лежал носом в мокрую траву и десять секунд ничего не делал вообще. Просто дышал.

А потом задал себе тот единственный вопрос, который в таких случаях всегда вытаскивает: чего он хочет?

Не я чего хочу — он. Вон тот, в коробке. Чего он от меня хочет прямо сейчас?

И ответ пришёл сразу, простой, как табуретка.

Он хочет, чтобы я держал голову опущенной. Он же не может меня штурмовать — он машина, у него открытый верх, ему в этот верх любая граната сверху прилетит, если он полезет в упор. Он поставлен сюда не убивать меня. Он поставлен прижимать меня, чтобы под его огнём его пехота дошла до промоины на бросок и добила нас гранатами.

То есть он — не главный. Он подпорка.

А главные — вон те, что ползут двойками. Двадцать человек. Если эти двадцать до нас доберутся — конец, потому что нас шестеро и один из нас с дыркой в плече. Если эти двадцать не доберутся — коробка постоит, пожжёт патроны и уедет, потому что одна, без людей, она в промоину не влезет.

— Слушать всем! — заорал я. — По коробке не стрелять! Ни одного патрона по машине! Пусть себе долбит!

— Она ж по нам бьёт! — крикнул кто-то справа, не разобрать кто.

— Она по нам бьёт и не попадает, потому что мы низко! — заорал я. — А попадёт она тогда, когда мы приподнимемся её пугать! Всё внимание на пеших! Бейте по тем, кто ползёт! Их считаем, их и валим!

И мы сузились.

Я развернул всех — весь наш смешной фронт из шести стволов — в один узкий сектор, в те самые шестьдесят шагов голого места между взлобком и промоиной. Всё остальное я отдал. Отдал сознательно: пусть коробка царит над полем, пусть чешет по пустым ямам, пусть хоть весь бруствер снесёт. Мне нужны были шестьдесят шагов, и на эти шестьдесят шагов у меня работало шесть винтовок и Ковалёв сверху, наискось.

Это, между прочим, единственное, что у бедного всегда есть против богатого: право выбрать одно место и туда положить всё.

Они полезли через голое место на восьмой минуте.

Ползли грамотно, кучно, накатом — и попали ровно в тот угол, где их ждали шесть стволов в упор и Ковалёв сверху с фланга.

Первым свалили того, кто бежал третьим, — по нему одновременно взяли Мыльников и Гнутов, а Гнутов при этом орал «Терентьев, левее!», и от этого крика тело, падающее в грязь, показалось мне ещё нелепее, будто оно рухнуло от насмешки, а не от пули. Потом залегли двое, и Ковалёв со взлобка стал их доставать — методично, с паузами по десять секунд, как на лесосеке, — и одного достал, а второй пополз назад, и вот это было первое, что меня по настоящему обрадовало за всё утро.

Пополз назад.

Пехота, которая начинает пятиться, — это музыка. Это значит, что у них внутри сменился вопрос. Был вопрос «как дойти», стал вопрос «как уцелеть», и назад после этого их поворачивает быстрее любой команды.

— Гнутов! — заорал я. — Ори, что мы контратакуем!

— А мы контратакуем?! — Гнутов даже дёрнулся приподняться, ждал команды бежать.

— Нет!

— Понял! — заорал Гнутов и надсадно, на весь фланг, срывая последние остатки голоса: — Пер-вое отделение! Примкнуть штыки! Ждать команды!

И я, честное слово, впервые за пять суток по-настоящему захохотал, лёжа в промоине, носом в мокрое быльё, — потому что штыки у нас были примкнуты со вчерашнего дня и снимать их никто не собирался, а «ждать команды» Гнутов добавил от себя, для красоты. Смех разодрал мне пересохшее горло, и я закашлялся, всё ещё смеясь.

А Стеблов в это время работал.

Я на него поглядывал каждые полминуты, потому что боялся за него больше, чем за остальных вместе взятых. Он лежал в своей ложбинке чуть впереди промоины, на левом боку, положив винтовку на кочку, и стрелял редко — раз в минуту, не чаще. Он не рвался. Он не вставал. Он не полез никуда вперёд.

И на девятой минуте он крикнул:

— Гринёв! Вправо гляди, вправо! По низине двое обходят!

— Вижу! — крикнул я, хотя не видел ни черта. — Держи их!

— Не удержу, я правой не поверну!

Вот. Вслух и сразу.

Он сказал это громко, при всех, спокойно, без стыда, — сказал ровно то, что я ему велел утром говорить, и сказал вовремя, а не через час.

— Мыльников, правый! — заорал я. — Стеблов, лежи и считай! Считай, сколько их там!

— Двое! Нет — трое! — крикнул Стеблов, приподнимая голову ровно настолько, чтобы разглядеть.

Я перебросил Мыльникова на правый край и сам сполз туда же, локтями и коленями продавливая мокрую траву, и мы их встретили — не убили, а именно встретили, положили в грязь и не дали подняться, а больше нам ничего и не требовалось.

Дальше было десять минут скучного и страшного.

Скучного — потому что снаружи не происходило почти ничего: они лежали в грязи, мы лежали в грязи, время от времени кто-то дёргался, и по нему стреляли. Страшного — потому что коробка нащупала промоину и стала класть по её краю, и на правом фланге у нас посебло Хвостова. Он взвыл, коротко и хрипло, будто ему заткнули рот на середине крика, и я к нему прополз, царапая локти о тяжёлые комья, и оказалось — по спине, поверху, шинель распорота, две царапины и один осколок слежавшейся земли, вошедший в мякоть под лопаткой.

— Гринёв, — сказал Хвостов, стуча зубами. — Ты Бортникову не говори.

— Опять?!

— Ну Гринёв же!

— Хвостов, — сказал я, заворачивая ему рану в мокрый лоскут, чувствуя, как холод обжигает пальцы, — у тебя феноменальная последовательность. Двух суток не прошло. Ты у меня всю роту переведёшь на портянки Прокудина.

— Убью, — сказал Прокудин со своего места, не поворачиваясь, но в голосе у него было больше усталости, чем угрозы.

Отход их начался в четверть девятого, и начался он не разом, а как всегда: сперва перестали лезть вперёд, потом стали отползать по одному, потом коробка сменила тон и стала бить не прицельно, а широко, размазывая, — прикрывая.

Я на этом чуть не сделал последнюю глупость.

Во мне поднялось совершенно детское: они бегут, надо гнать! И я даже привстал на колено и уже набрал воздуха, чтобы поднять людей и рвануть до перелеска — там, дескать, добыём, там их коробке не развернуться.

И меня осадила не голова. Меня осадило плечо, о которое стукнулся Гнутов, полезший вперёд первым, — здоровый, счастливый, разгорячённый, с примкнутым штыком, готовый бежать за мной куда угодно, глаза горели азартом погони.

И я увидел это со стороны: шестеро — из которых один ранен, один посечён, один вымотан до дрожи — встают из промоины и бегут шестьдесят шагов по голому месту под пулемёт, к перелеску, в который они не заглядывали и не знают, что там.

То есть я собирался повторить ровно то, за что только что положил половину их нака-
тывающей группы.

— Лежать! — заорал я, хватая Гнутова за рукав и рывком возвращая его в промоину.
— Всем лежать! Никому не вставать!

— Так они ж уходят!

— Уходят — и пусть! — крикнул я. — Федя, у них там за деревьями машина и пятнадцать
целых мужиков, а у нас с тобой открытое поле и шесть человек! Мы держим место! Мы не
берём место! Это разные работы!

Гнутов лёг. Обиженно и шумно, ткнувшись лбом в землю, но лёг.

Мотор за перелеском взял высокие обороты, ушёл влево вдоль кромки и стал удаляться,
и вместе с ним по одному, по двое, ползком и перебежками, сошла их пехота.

И стало тихо.

Я не сразу поверил в эту тишину. Я вообще ей никогда сразу не верю — минуты три после
боя человек оглушён своим же сердцем и слышит наполовину. Поэтому я лежал ещё минуты
две, считая до ста и глядя на кромку, и уши у меня всё ещё звенели, будто в них плеснули воды.

Потом сел.

Пар шёл от всех. Мы лежали в промоине, шестеро, и от нас поднимался пар, как от лоша-
дей, и ещё стоял в воздухе пороховой кисляк и запах развороченной мокрой земли — острый,
свежий, режущий, совсем другой, чем стоял тут утром.

— Считаемся, — сказал я. — По одному, вслух, слева направо. Мыльников.

— Тут я, мокрый.

— Прокудин.

— Здесь.

— Хвостов.

— Здесь, — сказал Хвостов сипло. — Спина болит.

— Терпи, знаменитый. Гнутов.

— Тут! Гринёв, я счёт сбил, я, по-моему, Терентьеву два раза по шее дал!

— Отдашь в третий, — сказал я. — Ковалёв!

Со взлобка отозвались не сразу, и у меня в эти три секунды всё внутри осело, будто
провалилось куда-то вниз, и я уже прикидывал, кого послать проверить.

— Здесь, — сказал Ковалёв, съезжая по склону задом, лицо у него было серое от напря-
жения. — Почти кончились. Восемь патронов осталось.

— Стеблов.

Молчание.

— Стеблов!

— Тут, — сказал он тихо и как-то без воздуха.

Я к нему подполз, торопясь, обдирая колени о тяжёлые комья.

Он лежал на боку, там же, где и лежал, и был белый. Рука висела. Повязка на плече
набухла и потемнела, и по рукаву у него шло тёмное — не струей, а пропиткой.

— Разошлось? — сказал я.

— Кажись, — сказал он. — Я, Гринёв, один раз всё-таки повернулся правой. Один только
раз. Потому что они справа шли, а я...

— Молчи, — сказал я, распуская ему ремень и заворачивая шинель, руки у меня дро-
жали от холода и от спешки одновременно. — Молчи и не двигайся, я на тебя сейчас поору,
а ты слушай, тебе полезно. Ты один раз повернулся правой, а до того двадцать минут не пово-

рачивался и вслух сказал, что не повернёшь. Ты, брат, сделал сегодня ровно то, что я велел, и сделал это лучше, чем половина здоровых. Слышишь?

Он закрыл глаза.

— Так я ж не обуза?

— Ты глаза, — сказал я. — Ты первый увидел правый обход. Если бы ты его не крикнул, они бы вошли нам во фланг, и мы бы с тобой сейчас не разговаривали.

Он кивнул и потерял сознание, ровно и аккуратно, как человек, который держался ровно до той секунды, пока была нужда держаться.

Мы его перевязали заново — я и Прокудин, — положили на две шинели и понесли к тому месту, откуда его заберёт телега.

Пока мы несли Стеблова, я уже знал, что скажу Бортникову: утром я сам переставлял смену и сам принимал решения. Про мотор в логу промолчу — иначе придётся объяснять, откуда я его распознал. Эту часть понесу один.

Мы дошли до края, положили Стеблова, и Мыльников сел рядом с ним прямо на землю, мокрые сапоги вытянув перед собой, и я не стал его поднимать.

Гнутов стоял и смотрел на разбитые сентябрьские ямы — на ту, где сидел Мыльников, теперь развороченную и распаханную, — и молчал, что для Гнутова было редким и нехорошим признаком. Он даже переступил с ноги на ногу, как будто хотел что-то сказать и не решался.

— Федя.

— А?

— Ты чего?

— Да я вот думаю, — сказал он медленно, всё ещё глядя на яму. — Ты нас из них выгнал, а после по ним как дало. Гринёв, а ты откуда знал?

Ну вот. Началось.

— Я не знал, Федя, — сказал я, и это была чистая правда. — Я поглядел, куда у ямы насыпан бруствер, и куда идут они. Бруствер на запад, они с юга. Вот и всё знание.

— И всё?

— И всё, — сказал я. — Это, брат, не хитрость. Это направление. Ты когда от ветра прячешься, ты же за стену становишься с подветренной стороны, а не с наветренной? Вот и тут стена, только ветер железный.

Гнутов подумал, наморщив лоб, шевеля губами, будто пробовал мысль на вкус.

— Складно, — сказал он и повеселел, потому что складное объяснение человеку нужнее правильного. — А орал я хорошо?

— Ты орал так, что я сам поверил, будто у нас взвод, — сказал я. — Я в какой-то момент хотел спросить у тебя, где Терентьев, чтоб его отправить за патронами.

Он захохотал. И остальные засмеялись — сиплю, вымотанно, но засмеялись, — и я это позволил и даже подкинул ещё пару слов, потому что смеющаяся смена собирает себя вдвое быстрее молчащей. Это не доброта, это тоже расчёт.

А потом со стороны центра рубежа, вдоль линии, побежал человек.

Он бежал плохо — размётывая ноги, скользя на инее, — и шинель у него была расстёгнута у горла, а шапка сбита на затылок. Молодой, из соседнего отделения, я его в лицо знал, а по имени нет.

Он добежал и встал, упершись руками в колени, и попытался говорить, и у него ничего не вышло, потому что дыхание рвалось паром и обгоняло слова.

— Отдышись, — сказал я. — Мы никуда не денемся.

Он мотнул головой — нельзя отдышиваться, велено бегом, — и выдал между двумя вдохами, звонко и слово в слово, как ему передали:

— Гринёва... к сержанту Бортникову. Немедля.

— Ясно, — сказал я.

— Он сказал — немедля, — повторил связной, будто я мог с первого раза не расслышать самое важное. — И ещё сказал: пускай идёт один.

Гнутов рядом перестал улыбаться, и я увидел, как у него дёрнулась щека.

Я оглядел свой фланг: разбитые сентябрьские ямы, промоина в стреляных гильзах, Стеблов на двух шинелях, Хвостов с мокрой землёй под лопаткой, Ковалёв с восемью патронами, Мыльников, сидящий на холодной земле в мокрых сапогах.

Мы удержали место. Мы удержали его тем, что нашли на нём под ногами, потому что вчера ночью я привёл семерых копать в другую сторону.

— Кондрат Силантыч за старшего до моего возвращения, — сказал я. — Как придёт с правой линии — так и за старшего.

— А если не вернёшься? — сказал Гнутов и сам испугался того, что сказал, и лицо у него на секунду стало совсем детским.

— Тогда, Федя, тем более Кондрат Силантыч, — сказал я и пошёл.

Глава 5. Двенадцать человек



Я шёл к Бортникову и по дороге отчищал варежкой рукав.

Отчищал я его не из щегольства — а потому, что человек, который приходит с докладом весь в глине и трухе, докладывает своим видом раньше, чем откроет рот, и доклад этот получается жалобный. А я жалобу приносить не собирался. Я нёс четыре самовольных решения, одного раненого, одного посечённого, восемь патронов у Ковалёва и промоину в гильзах — и всё это надо было выложить так, чтобы оно легло не грудой, а стопкой.

Глина не отчищалась. Она засохла и стала частью шинели, и варежка только размазывала её тонким серым налётом, а на пальцах у меня оставались сухие крошки, которые я то и дело стряхивал, не глядя.

— Ну и ходи так, — сказал я себе вслух, чтобы хоть что-то делать голосом, раз руки не справляются. — Зато видно, что не в обозе сидел.

Бортников стоял у блиндажа второго взвода, там, где ход сообщения выходит на дорогу, и разговаривал с Прохором. Точнее, Прохор говорил, размахивая руками, а Бортников стоял и смотрел мимо него на запад, туда, где над перелеском ещё не разошёлся дым, и по лицу сержанта было видно, что Прохора он слышит примерно так, как слышат ветер в трубе.

Кулагина я увидел раньше, чем Бортникова. Кулагин шёл от них обратно к обозу — своей ровной, неспешной походкой человека, у которого никогда никуда не горит, — и, поравнявшись со мной, кивнул, коротко тронув край шапки.

— Живой, земляк?

— Живой, Пал Егорыч.

— Ну, значит, повезло, — сказал он и пошёл дальше, не оборачиваясь.

Я почему-то оглянулся ему вслед. Не знаю почему. Что-то в этом «повезло» царапнуло — не то тон, не то то, что он вообще спросил. Оглянулся — и пошёл дальше.

Прохор ушёл, всё ещё что-то договаривая на ходу самому себе. Бортников повернулся ко мне.

У Бортникова было лицо человека, который двадцать лет разгружал вагоны, а потом ему дали три треугольника, и он к ним до сих пор относится как к чужому инструменту — берёт аккуратно и кладёт на место. Ему тридцать четыре, и выглядит он на сорок пять, и половина этой разницы набежала за последний месяц.

— Красноармеец Гринёв по вашему...

— Отставить, — сказал он, махнув рукой коротко, не дослушав. — Стоя докладывай, коротко. Что было.

— Полугусеничный с пехотой, от перелеска, вдоль фланга, наискось, — сказал я. — Пеших человек двадцать, я насчитал одиннадцать. Машина на открытое не вышла, стояла между стволов, работала по нашим сентябрьским ямкам. Двадцать минут держались, они отошли на юго-запад. У нас Стеблов — плечо разошлось, отнесли на телегу; Хвостов — посеколо спину слежавшейся землёй, ходячий; остальные целы. Патронов израсходовано много, у Ковалёва восемь осталось.

Он слушал, глядя не на меня, а на мою правую руку. Я проследил его взгляд. Рука у меня была на пуговице нагрудного кармана. Опять.

Я её убрал, сунул руку за спину, будто это могло стереть след.

— Из ямок людей ты увёл, — сказал он.

— Увёл.

— Почему.

— Потому что ямки рыли в сентябре бруствером на запад, — сказал я, — а он шёл с юга. Человек в такой ямке от чистого поля укрыт, а от того, кто идёт сбоку, он выставлен по пояс. Мы легли в промоину, она идёт наискось, поперёк их направления. Через полминуты по ямкам ударил пулемёт и распахал их до дна.

Бортников помолчал, глядя куда-то мне за плечо, будто прикидывал что-то своё.

— Стеблова кто на линию ставил.

Вот. Это была не жалоба Прохора и не любопытство. Это был вопрос, за которым стоит бумага.

— Я, — сказал я.

— С пулевым пятидневным.

— С пулевым пятидневным, — сказал я. — Поставил на левый край, на наблюдение, без резких движений плечом, с упора, с приказом кричать вслух, если станет худо. Он кричал. Он первый увидел правый обход и крикнул, что не удержит, и мы успели перебросить туда Мыльников. Если бы он молчал, они бы вошли нам в бок.

— А плечо разошлось.

— Разошлось, — сказал я. — Он один раз повернулся правой. Один. Товарищ сержант, я его ставил не по доброте и не потому, что он просил. Я его ставил по счёту: живой стрелок с одной рукой на наблюдении стоит больше, чем пустое место на краю. Счёт сошёлся. Плечо — цена. Я эту цену знал, когда ставил, и, если спросите, поставил бы снова.

Он посмотрел на меня как-то долго и странно, будто примерялся, не тяжело ли будет поднять.

— Ты знаешь, что тебя за это могут спросить.

— Знаю.

— И что ответишь.

— Ровно то же, что вам, — сказал я. — Слово в слово. Врать я в этом деле не умею, тут врать негде: либо счёт сошёлся, либо нет.

Бортников вытащил кيسет, повертел его в руках и убрал обратно, не закулив. Я это заметил и понял, что у него табак кончается, а признаваться в этом при подчинённом ему неохота.

— Ладно, — сказал он. — Пиши потом на Стеблова, что был поставлен на наблюдение с моего ведома.

Я не сразу понял.

— С вашего...

— С моего, — сказал он. — Я в семь ноль-ноль сказал тебе менять порядок по своему разумению и докладывать после. Значит, всё, что ты там наворотил до восьми, — моё. Ты старший смены, я старший над тобой. Так это работает, Гринёв, а не так, что если удачно — то моё, а если плечо — то твоё.

Вот тут у меня внутри что-то сдвинулось, и сдвинулось приятно.

Я в первой жизни двадцать три года прожил в мире, где эта простая вещь была законом и её никто вслух не проговаривал, потому что и так все знали. А тут её проговорили вслух, при мне, мужику в глине, — и оказалось, что слышать её вслух совсем не то же самое, что знать.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — сказал Бортников. — Я не тебя выгораживаю, я порядок держу. — Он потёр лицо ладонью, тяжело, будто снимал с него усталость. — Ты вот что. Ты...

И тут он вдруг споткнулся. Не на слове — на мысли. Я это увидел: он собирался сказать одно, а сказал другое.

— Ты из-под Дмитрова, что ли?

— Оттуда, — сказал я, и что-то внутри у меня насторожилось раньше, чем я успел понять почему.

— Кулагин говорит, вы с ним почти соседи.

— Мы с Пал Егорычем в разных концах одного уезда, — сказал я. — Он в Ильинском, я подальше.

Бортников почесал бровь ногтем большого пальца, глядя куда-то в сторону, будто вспоминал что-то, ускользающее от него самого.

— Странно, — сказал он. — Я про Гринёвых что-то другое слышал.

В такую секунду не бывает ничего.

Ничего не бывает. Вот что самое скверное. Не холодеет спина, не звенит в ушах, не встаёт волосок — это всё в книжках. В жизни ты просто продолжаешь стоять, и лицо у тебя остаётся ровно тем же, каким было полсекунды назад, а внутри включается очень быстрый, очень холодный счётчик, и он считает не страх, а варианты.

Вариант первый: переспросить. «Что именно другое?» Естественный, живой вопрос, любой человек его задаст. И тем самым я подниму эту вещь с земли, отряхну и поставлю на стол между нами, и мы с сержантом будем её разглядывать. А потом он вспомнит подробность. А потом ещё одну. Память — она такая: пока её не трогают, она лежит клубком, а начнёшь тянуть за нитку — разматывается.

Вариант второй: испугаться и заоправдываться. Это для дураков. Испуг в таком разговоре — единственное, что превращает пустяк в вопрос.

Вариант третий — тот, который я взял.

— От кого слышали? — спросил я, и спросил не с интересом, а с той ленивой досадой, с какой спрашивают про надоевшее.

— Да был у меня знакомый один, — сказал Бортников, наморщив лоб, вспоминая, — из ваших мест. До армии ещё. Так, языкастый был мужик, всё про всех знал. Он не то про братьев говорил, не то...

Он не договорил и махнул рукой, будто отгонял муху.

— Товарищ сержант, — сказал я, — вы у нас в уезде хоть раз были?

— Не был.

— Тогда я вам объясню, как у нас устроено, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал легко, чуть насмешливо, как у человека, которому просто скучно объяснять очевидное. — У нас в одном уезде три деревни с одинаковыми фамилиями. Гринёвы — в Заречье, Гринёвы — в Малых Хомутцах, и ещё в Ильинском, кажется, тоже завелись, я про них ничего не знаю.

И вот приезжает к вам знакомый языкастый мужик и говорит: «А Гринёвы-то!» И вы сорок лет живёте с этим знанием, а Гринёвы-то — совсем другие, за двадцать вёрст. У нас через это половина сватовства срывалась. Один раз сваты в Хомутцы приехали не в тот двор, посидели, выпили, договорились — а невеста другая оказалась. И, между прочим, женили.

Бортников фыркнул, впервые за разговор что-то похожее на улыбку тронуло его лицо.

— Врёшь.

— Вру, — согласился я легко. — Про женили — вру. Про то, что приехали не в тот двор, — чистая правда. Товарищ сержант, слух за десять лет через трёх человек — это как каша через три термоса: вроде та же, а есть уже нельзя.

Он усмехнулся половиной рта и — я видел — отпустил. Мысль его отпустила, как отпускает случайно зацепившийся за куст рукав: дёрнул, освободил, пошёл дальше, и через час уже не помнишь, за какой куст цеплялся.

Только вот куст остаётся стоять.

Я это знал очень хорошо. Он сейчас забудет. А потом, недели через три, в другом разговоре, у него в голове само собой всплывёт: «а, да, что-то там с Гринёвыми не сходилось» — и всплывёт уже не как пустяк, а как отложенная странность, потому что человеческая память складывает мелочи в отдельный ящик и не выбрасывает их никогда.

И сделать с этим ящиком я не могу ничего. Совсем. Я могу только не подкладывать в него новых мелочей.

— Так вот, — сказал я, торопясь увести разговор дальше, — я про фланг хотел спросить. Сколько у нас времени?

— Чего? — сказал Бортников, ещё не переключившись до конца.

— Времени, — повторил я. — Товарищ сержант, они сегодня утром шупали наш левый край и получили по зубам. Они узнали, что там у нас пусто, что промоина, что нас там мало и что бронемашин в промоину не влезет. Они это узнали за двадцать минут и ушли не разбитые, а с покупкой. Значит, они придут снова. Я хочу знать, когда, чтобы понимать, сколько мне копать.

Бортников посмотрел на меня очень внимательно, склонив голову набок.

— Вот за это тебя и не понимают, — сказал он.

— За что?

— За то, что ты вперёд бежишь, — сказал он. — Всем интересно, кого убило. А тебе интересно, когда придут.

— Так убитых уже не вернёшь, товарищ сержант, — сказал я. — А когда придут — это ещё можно потратить с пользой.

Он молчал секунд пять, глядя куда-то мимо меня, будто взвешивал, сказать ли.

— Сутки, — сказал он. — Может, полтора. Не больше.

Вот тут у меня внутри всё встало на место — и одновременно провалилось.

До этой секунды угроза была как погода. Гул на западе, дым за перелеском, «немец близко» — это всё туман, в нём нельзя работать, в нём можно только бояться или не бояться. А тут мне назвали число. И туман сразу свернулся в верёвку, и верёвка эта оказалась короткая.

— Откуда сведения? — спросил я.

— А тебе не всё равно?

— Мне не всё равно, — сказал я. — Одно дело — разведка донесла, тогда я считаю по этому сроку. Другое дело — кто-то на глазок прикинул, тогда я считаю с запасом и готовлюсь к тому, что придут раньше.

Бортников хмыкнул, будто ему понравился сам вопрос.

— Правильно спрашиваешь, — сказал он. — Связой из соседнего батальона на дороге встретился, Дьячков его перехватил. Тот говорит: гул у них весь вчерашний день сползал

южнее, а с ночи снова пошёл к нам, и днём было слышать движение по большаку. Он и прикинул: сутки, может, полтора. Никакой разведки, Гринёв. Мужик на дороге, ухо да голова.

— Ясно, — сказал я.

— Что тебе ясно?

— Что готовиться надо к ночи, — сказал я. — Товарищ сержант, ухо да голова — это, между прочим, лучший источник, какой бывает, если ухо хорошее. Но человек всегда прикидывает по себе. Он думает: сколько бы мне понадобилось, чтобы собраться и прийти. А немец собирается быстрее, чем мы привыкли, — мы это пятого числа видели.

Бортников снова достал кисет, снова повертел и на этот раз всё-таки открыл. Табаку в нём было на два пальца, и он посмотрел на это скудное содержимое так, будто там лежало что-то более важное, чем табак.

— Слушай приказ, — сказал он. — Левый фланг, от промоины до стыка с третьим взводом, — весь. Второй профиль, как у тебя вчера на правой линии: щель узкая, устье в полтора штыка, карман под локоть, бруствер разнести. Довести до нормы весь участок. Сентябрьские ямы — засыпать или маскировать, на твоё усмотрение, чтоб он по ним снова не пристреливался как по нашей позиции.

— Людей?

— Двадцать два, — сказал он. — Твоя смена, плюс отделение Дьячкова, плюс пополнение — четверо, из тех, кого от Вязьмы притащили. Инструмент — что найдёшь. Пойдёшь старшим.

— До каких пор старшим?

— До конца работ, — сказал Бортников. — Гринёв, я тебе фланг отдаю целиком. Не смену на четыре часа. Фланг. Что там делается — делается по-твоему, и спрашивать за него будут с тебя. Понял?

— Понял.

— Не понял, — сказал он ровно, и в голосе у него прибавилось тяжести, будто он вкладывал в каждое слово вес. — Ты сейчас обрадовался. Это не радость, это хомут. Ты вчера ночью решил, где копать, и решил не там, где ударило. Никто тебя за это не тронул, потому что решение было разумное и я бы решил так же. А теперь у тебя двадцать два человека и сутки. Если не успеешь — виноват будешь ты, и не потому, что я на тебя свалю, а потому, что больше некому.

Я стоял и очень отчётливо чувствовал, как чаша идёт вверх, а вместе с ней на неё что-то кладут.

— Товарищ сержант, — сказал я, — я не успею.

Он поднял брови, и в этом движении было столько же удивления, сколько и любопытства.

— Как это?

— Арифметика, — сказал я. — Двадцать два человека, из которых половина не спала ночь и половина утром была в бою. Сверху тяжёлая мокрая корка, дальше глина идёт легче. Полный профиль, как я вчера делал, — это на человека часа три-четыре на свою ячейку плюс ход между ячейками. Фланг у нас — четыреста метров с лишним. Если считать честно и без брехни, я к утру закрою метров полтора. Хорошо закрою. А остальные двести пятьдесят будут стоять как стояли — то есть никак.

Бортников молчал, глядя на меня так, будто ждал продолжения и заранее знал, что оно будет.

— И вот тут, — сказал я, — у меня к вам предложение.

— Ну.

— Раз я не могу сделать двести пятьдесят метров настоящих, — сказал я, — я сделаю их ненастоящими. Так, чтобы он с той стороны, с кромки перелеска и с бугра, куда он утром выкатывал машину, увидел на этих двухстах пятидесяти метрах занятую, отрытую, обжитую позицию. Чтоб он не полез сходу, а сначала пощупал.

— Это как?

— Как, — сказал я. — Что человек видит с трёхсот-четырёхсот шагов? Он не видит окоп. Окоп — это дырка в земле, дырку с четырёхсот шагов не разглядишь. Он видит вынутый грунт: тёмную полосу на белом. Видит бруствер. Видит, что там кто-то ходил, — тропу. Видит дым, если есть. Видит движение. Вот это всё и есть его окоп, а не сам окоп.

— И ты ему это нарисуешь.

— Я ему это выложу, — сказал я. — Землёй, жердями, соломой и ногами. Товарищ сержант, там за перелеском плетень стоит от бывшего огорода, и в ложине стожок, наполовину растащенный. Жерди и солома. Мне их хватит, чтоб на двухстах метрах поставить признаки, а признаки он читает те же самые, что и мы.

Бортников долго смотрел на меня, будто пытался прочесть на моём лице что-то большее, чем я говорил вслух.

— Ты пятого числа с колышками так делал.

— Делал, — сказал я. — Только там было пятьдесят шагов и три колышка, и мы просто просили его поглядеть подольше. А тут двести пятьдесят метров и надо, чтоб он поверил.

— А если не поверит?

— Тогда он пойдёт туда, — сказал я честно. — И там его встретят четыре человека, которых я туда посажу для правды, потому что позиция без единого выстрела — это не позиция, а декорация, и он это поймёт за минуту. Четыре человека и запас патронов. Они дадут ему по морде, откатятся вдоль ложбины к настоящей линии, а он останется думать, много ли там ещё осталось.

— Четверых потеряешь.

— Могу потерять, — сказал я, и что-то у меня внутри сжалось на этих словах, потому что я уже примерял в уме, кого туда посажу. — А могу и нет, если поставлю их с готовым путём отхода и запрещу им геройствовать. Товарищ сержант, у меня выбор такой: или двести пятьдесят метров пустоты, в которую он входит как в открытую дверь, или двести пятьдесят метров вранья, на которое он потратит два-три часа. Мне эти два-три часа нужны, чтобы дорыть настоящее.

Бортников отвернулся и посмотрел на запад. Дым над перелеском наконец разошёлся, и было видно ровную серую кромку, за которой ничего не происходило.

— Делай, — сказал он.

— Разрешите вопрос.

— Ну?

— Я вам сейчас сказал, что двести пятьдесят метров будут враньём, — сказал я. — Вы этот фланг в сводку понесёте. Как понесёте?

Он посмотрел на меня искоса, и в глазах у него мелькнуло что-то похожее на предупреждение.

— А ты не борзей, Гринёв.

— Я не борзею, — сказал я. — Я хочу, чтобы у вас на руках было то, что есть, а не то, что видно. Потому что если наверху решат, что левый фланг закрыт, они снимут оттуда людей и поставят куда-нибудь ещё. И тогда получится, что я обманул не только немца.

Бортников сунул кисет в карман, так и не свернув самокрутку.

— Понесу как есть, — сказал он. — Сто пятьдесят метров профиля, остальное — обозначено. Слово запишу: обозначено. Дьячкову скажу отдельно, на словах. — Он помолчал, разглядывая меня, будто впервые видел. — Ты, Гринёв, иногда говоришь такое, что я не понимаю, откуда ты это берёшь.

— Из головы, товарищ сержант. Больше неоткуда, у меня в карманах пусто.

— Иди, — сказал он. — И это. Спать своих кладь. Не геройствуй с людьми.

Я пошёл, и скажу одно: до фланга было двенадцать минут ходу, и все двенадцать минут я считал.

Считал я так.

Сутки, может, полтора — это слова связного, который прикидывал по себе. Отнимаю четверть на его оптимизм: восемнадцать часов. Из восемнадцати часов вычитаю то, что уже съедено докладом и дорогой, — сейчас без четверти десять. Значит, к четырём утра всё должно стоять. И это ещё если он придёт под утро, а не в темноте, — а немец в темноте лезть не любит, значит, скорее всего, на рассвете. На рассвете, часов в семь. Двадцать один час.

Двадцать один час, двадцать два человека. Из них четверых я сразу отдам на ложный участок. Значит, восемнадцать на землю. Из восемнадцати шестеро сегодня ночью не спали и утром дрались — этих я обязан положить, иначе к ночи они у меня начнут ронять лопаты себе на ноги.

Итого на работу здесь и сейчас — двенадцать человек.

Двенадцать человек, полтора метра профилей, двадцать один час.

Сходится впритык. А впритык — это значит не сходится, потому что впритык не бывает: обязательно кто-нибудь сломает черенок, или хлынет дождь, или прилетит одиночная мина и все на сорок минут лягут.

Я шёл и понимал очень простую и очень поганую вещь: у меня нет ни одного лишнего часа, и первый же час, который я потрачу не на дело, будет украден у людей, которые полезут в эти щели завтра утром.

С этим ощущением я и пришёл на фланг.

Народу там уже прибавилось. Дьячков привёл своё отделение и стоял в стороне, разговаривая с Опариным, — они, оказывается, оба прошли Финскую войну и уважают друг друга ровно настолько, чтоб не спорить при людях. Промоина была всё та же, в стреляных гильзах, растоптанная. Гнутов уже успел кому-то рассказать про Терентьева, и я это понял по тому, как на меня посмотрели трое незнакомых — с любопытством, чуть насмешливо, будто ждали, что я и сейчас начну командовать невидимым взводом.

И четверо новеньких стояли особняком, кучкой, — так всегда стоят люди, которых притащили в чужое отделение из разбитого своего. Рядом с ними был Хвостов: уже знакомый, с перевязанной спиной, он показывал одному, как держать лопату, чтобы не сбить ладони в первый же час. Один новенький переминался с ноги на ногу, другой смотрел в землю, третий украдкой поглядывал на промоину, будто прикидывал, стоит ли доверять этому месту.

— Здорово, — сказал я им, подходя ближе. — Гринёв. Я тут на этот фланг старший до конца работ. Аким, эти четверо с тобой?

— Со мной, пока не разбегутся, — сказал Хвостов. — А про тебя им уже рассказали, будто ты немца голосом отогнал.

— Отогнал его Ковалёв с бугра восемью патронами и Мыльников с мокрыми ногами. Голосом я только помогал.

Хвостов хмыкнул своим привычным, оценивающим хмыком — как мужик, который щупает доску перед покупкой и ищет трещину.

— Вечером ты мне понадобишься, — сказал я. — Будет работа по твоей плотницкой части, и работа дурацкая. Заранее предупреждаю: будешь ругаться.

— Я и так ругаюсь, — сказал Хвостов. — Мне не привыкать.

Глава 6. Химический карандаш



Дальше пошло то, за что я эти часы, пожалуй, буду помнить дольше, чем утренний бой. Я собрал всех и сказал главное — вслух, чтоб не пересказывали друг другу криво.

— Слушать всем! Сержант отдал этот фланг мне до конца работ. Значит, спрашивать будут с меня, а орать на вас буду я. Теперь по делу. Немец придёт сюда снова. Не «может быть», а придёт. Срок — сутки, может, полтора, а по-моему, меньше, потому что он утром разглядел всё, что хотел. Скорее всего — завтра на рассвете.

Стало тихо. Хорошо стало тихо — не испуганно, а внимательно. Кто-то из дьячковских переступил с ноги на ногу, звякнула лопата, задетая сапогом, и все обернулись на этот звук, будто он был чем-то важным, и снова замолчали.

— И вот ещё что, — сказал я. — Пока вы тут будете рубеж держать, кто-то за нами будет глядеть с той стороны. Утром он приходил не просто пострелять. Он пришёл посмотреть, где у нас пусто, а где густо. И запомнил. Значит, весь остаток дня мы живём так, будто на нас смотрят в оптику, — потому что, скорее всего, так и есть.

— А чего это спать посреди дня? — сказал кто-то из дьячковских, невысокий, с обветренным лицом, и в голосе у него было не столько сомнение, сколько обида, будто его хотели обмануть.

— Того, что смены будут по кругу, треть работает, треть спит, треть смотрит на перелесок, — сказал я. — А теперь слушайте главное: смотреть на перелесок — это не глядеть в пространство. Это искать человека, который прячется так, чтоб его не нашли. Он там есть, я почти уверен. И я хочу, чтоб его нашёл кто-то из вас, а не он нас.

Ковалёв, до этого молча растиравший пальцы, поднял голову.

— С чего ты взял, что он там есть?

— С того, — сказал я, — что утром, когда он бил, серии ложились кучно, будто он видел, куда бить, а не пристреливался вслепую. Пристрелка идёт с недолётом, потом с перелётом, потом в вилку. А тут сразу легло по нашей яме, с первого раза. Так бьют, когда есть глаза на месте, которые говорят пушке, куда класть.

Опарин прищурился, поглядел на дальний лес, будто хотел разглядеть человека прямо отсюда.

— И где он, по-твоему?

— Если бы я знал где, я бы туда уже сходил, — сказал я. — Но у меня есть с чего начать. Слушайте. Наблюдатель на такую дистанцию садится не абы куда. Ему нужно три вещи: видеть нас, самому быть невидимым и иметь путь назад, если что. Значит, ищем не бугор — бугор виден всем. Ищем что-то невзрачное, откуда видно наше поле, но само оно с нашей стороны кажется пустым местом, мимо которого глаз проезжает. Кочка с кустом. Стог. Воронка старая. Завал.

Расписать очередь оказалось не так просто, как казалось. Двадцать двух человек в голове не удержать, а мне ещё о немце думать. Я полез за пазуху, достал полевую книжку и огрызок химического карандаша, кликнул Гнутова за фанеркой и кольшком и расписал смены на листке коротко, без затей: кто когда спит, кто копает, кто смотрит. Вбил кольшек у тропы, придавил листок сверху.

— Вот, — сказал я. — Наш начальник. Кто хочет знать, когда спать, — идёт и читает. Кто со мной не согласен — говорит мне лично. А теперь слушайте про третье дело, самое важное на сегодня.

Народ подтянулся ближе.

— Каждый, кто сейчас смотрит в сторону перелеска, — сказал я, — смотрит не вообще, а по секторам. Я разобью линию на пять кусков, за каждым — свой человек, и он глядит в свой кусок весь час смены, а не по всему полю сразу, потому что по всему полю глаз устаёт и ничего не видит. И ещё: не ищите человека. Ищите то, чего вчера не было. Ветку не в ту сторону. Куст, который чуть гуще соседних. Земля посвежее там, где утром её не было. Блеск — самое последнее, блеск он от вас прячет в первую очередь, а вот тень под кустом, которая не там, где ей положено по солнцу, — этого он спрятать не может.

— А если увижу? — спросил Дьячков, прищурившись, и в голосе у него была не тревога, а азарт, будто ему предложили игру.

— Не стрелять сразу, — сказал я. — Позвать меня тихо. Одна пуля мимо — и он снялся и сел в другом месте, а мы снова слепые. Мне нужно, чтобы он остался на месте до темноты, пока я не решу, что с ним делать.

Работа пошла в две стороны сразу: одни рыли, другие глядели. И вот тут началось самое интересное.

Часа через полтора подошёл Хвостов, воткнул лопату в мокрую землю и остановился рядом со мной, не говоря ни слова, просто глядя туда же, куда смотрел я.

— Вон там, — сказал он наконец, коротко ткнув подбородком.

— Где?

— Стог. Тот, что у края, растащенный. Утром был выше.

Я поглядел. Стог как стог, серый, осевший, ничем не выделялся среди прочих остатков сена, разбросанных по краю поля ещё с уборки.

— С чего решил?

— Я стога всю жизнь ставил, — сказал Хвостов, и в голосе у него не было ни капли сомнения, только усталая уверенность мастера. — Стог от ветра садится ровно, со всех сторон одинаково. А этот с одного боку просел больше, будто в него кто-то залез и там сидит, а сено сверху на себя натянул.

Я стоял и смотрел на этот стог долгую минуту, и внутри у меня медленно, по кусочкам, складывалось то самое чувство, которое я помнил из другой жизни, из других полей: когда пейзаж вдруг перестаёт быть просто пейзажем и в нём проступает человек, спрятанный так хорошо, что его видно только тому, кто знает, как выглядит настоящий, нетронутый стог.

— Дьячков, — тихо позвал я, не оборачиваясь. — Тихо подойди. Не беги.

Дьячков подошёл, поглядел, куда я показываю, и хмыкнул.

— Стог как стог.

— Хвостов говорит, просел не так.

— А Хвостов у нас теперь по стогам, — сказал Дьячков, но без насмешки, скорее уважительно, и снова поглядел уже внимательнее, сощурившись.

— Есть у тебя чем плюнуть далеко? — спросил я.

— В смысле?

— В смысле, у тебя оптика есть какая или бинокль трофейный, — сказал я. — Нет? Тогда будем на глаз.

Мы сменялись у этой точки по очереди, не показывая виду, что смотрим именно туда, потому что если он в стоге и у него есть чем глядеть в нашу сторону, он тоже наблюдает, кто на что смотрит, и любой слишком долгий взгляд в одну точку выдаст, что его заметили.

К четырём часам Опарин, отойдя якобы за инструментом, тоже прошёл мимо этой точки боком, не глядя прямо, а потом сказал мне тихо, вернувшись:

— Дымом пахнуло. Слабо, но пахнуло.

— От стога?

— Оттуда. Он там, видать, погреться решил, дурак, и потянул чем-то через солому.

Вот это меня и убедило окончательно. Стог не курит сам по себе.

— Значит, так, — сказал я, собрав вокруг себя четверых, тех, кому доверял ближе. — Мы сейчас туда никого не пошлём в лоб. Это опасно, у него может быть напарник, может быть заряжено что-то ловушкой, да и просто он вооружён и не дурак. Мы сделаем по-другому. Мы дадим ему то, ради чего он тут сидит.

— Это чего? — спросил Опарин.

— Картинку, — сказал я. — Он хочет увидеть наш рубеж и передать координаты своим. Значит, мы построим ему рубеж, какой нам нужно, чтоб он увидел, и он его увидит, и они будут бить по пустому месту, пока мы копаем настоящее в другом углу.

Хвостов, до этого молчавший, вдруг сказал:

— А самого его брать будем?

— Будем, — сказал я. — Но не сейчас. Сейчас он для нас полезнее живой и наблюдающий, чем мёртвый. Пока он смотрит и передаёт неправду своим, он работает на нас, сам того не зная. А как стемнеет и он захочет уйти доложить, вот тогда мы его и встретим на пути назад, там, где кустарник сужается к оврагу — я по дороге сюда его приметил, узкое место, мимо не пройдёшь.

— А если он раньше уйдёт? — сказал Дьячков.

— Тогда встретим раньше, — сказал я. — Но пока он сидит и смотрит на ложь, которую мы для него построим, — пусть сидит. Каждый час, который он там просидит, глядя не туда, — это час, который мы выиграем на настоящей линии.

Ложную линию мы начали ставить, как только стало смеркаться, и делали это нарочито, у него на виду, там, где сектор его наблюдения из стога перекрывал наше открытое поле лучше всего.

— Слушайте главное, — сказал я собравшимся. — Мы сейчас будем строить не окоп. Мы будем строить то, что видно из его стога. Дёрн переворачиваем чёрным вверх, полосой. Бруствер кучками, вразнобой. Жердь наклонно, солому в развилку. И самое главное — тропы, потому что позицию делает то, что к ней ходят.

— А настоящую линию где рыть? — спросил Гнутов.

— Там, где стог её не видит, — сказал я. — За перегибом. Он же не с крыльца смотрит, у него сектор из-под соломы узкий, я его прикинул по тени под кустом. Мы с этого угла для него закрыты полностью, я проверил, пройдя там сам, пригнувшись, и он меня не окликнул и не выстрелил, значит, не видит.

Работа над ложной линией пошла весёлая — восемь человек ходили взад-вперёд, топтали тропы, тыкали жерди, а Гнутов соорудил из двух палок и куска рогожи нечто вроде отхожего места, и я хохотал минут пять, держась за живот, потому что это было, по науке, самое убедительное во всей линии — то, что превращало кучу земли в жильё живых людей.

К шести стемнело настолько, что дальше топтать было бесполезно. Я прошёл ложную линию из конца в конец, а потом сходил на бугор в трёхстах шагах, чтобы посмотреть, как это видно со стороны, — и заодно проверить, не сместился ли наблюдатель за это время.

Стог стоял на месте, тёмный горб на сером поле, и дыма из него больше не было — то ли перестал топить с темнотой, то ли готовился уходить.

Я стоял на бугре и слушал.

Гул шёл с запада — низкий, ровный. Теперь моторов было много, и шли они не сюда, а вдоль, по большаку, севернее, тяжело и не спеша, как ходят колонны, которым некуда торопиться.

И тут гул сломался.

Он не стих — переломился резко, коротко, и в него влез другой звук, дробный, злой, с той стороны, где стоял третий взвод, ближе к стыку. Раз, другой, и следом хлопки — не наши, чужие, с тем особым сухим треском, каким бьёт немецкий карабин.

Тревога.

— К бою! — заорал я и побежал с бугра вниз, оскальзываясь на мокрой глине, один раз упал на колено, ударился о твёрдую кочку так, что в глазах вспыхнуло, и вскочил, не заметив боли.

— Стык! Дьячков, твои — на левое плечо! Хвостов, за мной к оврагу, он уходит сейчас, пока всё горит на стыке, самое время!

Хвостов догнал меня в три шага, топор в руках вместо винтовки, потому что до топора было ближе, чем до пирамиды с оружием.

Мы залегли у сужения оврага, там, где кустарник смыкался в узкую горловину, единственный проход со стороны стога к немецким позициям в обход открытого поля. Мокрая земля хлюпала под коленом, холод сразу пробрался сквозь шинель снизу, и я лежал, вслушиваясь в стрельбу на стыке, считая, сколько у меня времени.

Он появился минут через пять — тень, низкая, быстрая, скользящая от куста к кусту вдоль русла, и я узнал в его движении не панику, а выучку: короткие перебежки, паузы, слушает.

— Не стреляй первым, — шепнул я Хвостову. — Пусть подойдёт ближе, у меня в такой темноте одна пуля впустую — он развернётся и уйдёт в лес, и мы его больше не увидим.

Тень остановилась шагах в тридцати, замерла, будто что-то почуяла — может, звук моего дыхания, может, чавканье земли под моим локтем, — и в эту секунду я вскинул винтовку и выстрелил, не целясь толком, на звук и силуэт.

Тень дёрнулась и упала, и то ли он был ранен, то ли залёг сам, поди разбери в темноте, но больше он не двигался, и я лежал, вслушиваясь, а сердце колотилось так, что я слышал собственную кровь в ушах громче стрельбы на стыке.

— Живой? — прошептал Хвостов.

— Не знаю. Ползём.

Мы подобрались осторожно, огибая по дуге, и оказалось — залёг, ранен в плечо, оружие отбросил при падении, и когда мы подошли, он смотрел на нас снизу вверх с таким лицом, какое бывает у человека, понявшего, что его перехитрили не оружием, а терпением.

— Живой, — сказал я. — Тащим к Бортникову. Он нам расскажет, куда он передавал координаты и что успел передать, а если не расскажет, так хоть карта при нём найдётся.

С той стороны, из-за кустов, где стоял ложный плетень с рогожкой, донеслись торопливые хлопки — немец, оставшийся без своего наблюдателя, бил вслепую по нашей ложной линии, по соломе и мешковине, туда, где не было ни единого живого человека.

— Вот и весь его расчёт, — сказал я, слушая, как пули щёлкают по тяжёлым комьям впустую. — Он же не знает ещё, что его глаз у нас в руках лежит с дыркой в плече.

Минут через десять всё стихло так же резко, как началось. Мы притащили пленного на наш фланг, и там, у колышка со списком смен, при свете спички кто-то читал вслух по слогам, старательно, не обращая внимания на суету вокруг:

— Хво-стов... шест-надцать — двадцать... спит.

— Так уж и спит, — сказал Хвостов, тяжело дыша, ещё не остыв от бега и возни в овраге, вытирая лоб рукавом. — Кузьмич! Ты меня подымать не станешь, ты обещал?

Я поглядел на пленного, лежащего у моих ног с плечом, перевязанным Ковригиным, поглядел на ложную линию, дырявую теперь от чужих пуль, и не ответил.

Глава 7. Курыдохнут



— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Опарин, тыча пальцем в сторону мешка с почтой, который старшина Гуляев волок от опушки, придерживая горловину так, будто там не письма, а живой поросёнок. — Я считал: в прошлый раз на отделение три письма пришло, а нынче обещали пять. Кто два зажал?

— Никто не зажал, — Гуляев поставил мешок в грязь, отдышался, упёршись руками в колени. — Почта, она как снаряд летит — куда упадёт, туда упадёт. Не мной распределяется.

— А кем?

— Германом, — вставил Дьячков, не поднимая головы от котелка, помешивая в нём ложкой с таким видом, будто это занятие важнее всего разговора. — Он же дороги бомбит. Он же и почту решает, кому жить, кому нет.

Опарин посмотрел на него так, будто хотел плюнуть, но передумал — холодно было, плевок ветром бы ему же на сапог снесло. Вместо этого он засопел и отвернулся, всем видом показывая, что разговор ему неприятен, хотя от мешка глаз не отводил.

Гуляев развязал горловину и стал выкликать фамилии, держа треугольники на растопыренных пальцах, будто карты в игре, где он один знал расклад. Ковалёву — письмо, короткое, он взял его двумя пальцами, не глядя развернул у самой коптилки, прочёл и сунул за пазуху молча, лицо не изменилось ни на волос, только скула чуть дёрнулась. Дьячкову — открытка, картинка с довоенным парком, он присвистнул и стал зачитывать вслух что-то про соседку, все заржали, он остановился на середине фразы и убрал за отворот шапки, дальше уже не читал, только хмыкал про себя, будто вспоминал что-то своё.

Мне тоже было письмо — узкий треугольник, подписанный химическим карандашом, буквы крупные, детские почти. От матери. От той, что провожала Андрея у ржавой колонки в сером платке, и которую я в глаза не видел, потому что видел её не я, а тот мальчишка, чьё тело мне досталось. Я развернул письмо и прочёл его два раза, не понимая ни половины: кто такая тётка Марфа, о которой она пишет с поклоном, что за куры, что за долг Прохоровниной лавке,

кто такая Нюрка, которую велено было расцеловать, если приеду — а Нюрка, я так понимал, приходилась мне сестрой, потому что больше никому.

— Ну что, от матери? — спросил Опарин, увидев моё лицо, наклонившись ко мне через костёр.

— От неё, — сказал я и сложил письмо, убрал за пазуху, туда же, где грел химический карандаш и кисет.

— Что пишет?

— Курыдохнут, — сказал я первое, что запомнил, и все почему-то восприняли это как исчерпывающий ответ, закивали — курыдохнут везде, тема понятная, дальше расспрашивать не стали.

— Гнутов! — крикнул Гуляев, и по ячейке прошёл шум, все разом заулыбались, будто ждали именно этой фамилии.

Гнутов вскочил, чуть не сшиб котелок, кинулся к старшине бегом — бегал он и правда быстрее всех в роте, это у него было бесспорно, единственное бесспорное, — выхватил треугольник и отошёл в сторону, к брустверу, спиной ко всем, чтобы читать в одиночестве. Плечи его тряслись от смеха ещё до того, как он развернул письмо.

— Ну что там Клавдия пишет, — спросил Дьячков громко, специально громко, чтобы все слышали.

— Пишет, соскучилась, — отозвался Гнутов, не оборачиваясь, голос у него звенел от удовольствия. — Пишет, корова отелилась. Пишет, ждёт с победой.

— Складно врёт, — сказал Опарин вполголоса, наклонившись ко мне. — Уже третье письмо от этой Клавдии, а вспомни, кто ему конверты подписывал.

Я вспомнил. Первое письмо Гнутову написал сам Дьячков от скуки, зимним ещё вечером, чужим почерком, подписался «Клавдия из Рязани», просто чтобы посмотреть, что будет. Гнутов поверил сразу и целиком, ответил, адрес выдумал полевой почты сам себе, и с тех пор рота исправно поставляла ему письма от несуществующей девушки — то Дьячков напишет, то Прохор, то кто-нибудь из соседнего взвода, кому не лень. Гнутов ни разу не усомнился. Может, и не хотел сомневаться — так веселее было жить, когда тебя ждёт Клавдия из Рязани с коровой.

— А чего вы ему правду не скажете, — спросил я тихо.

— Зачем? — удивился Опарин, будто я спросил что-то совсем нелепое. — Ему хорошо, нам не скучно. Ты вон лучше подумай, чего Прохору твоему помочь надо, а то он к тебе третий день подкатывается, а сказать стесняется.

Прохор сидел напротив, действительно уже давно ёрзал, теребил край шинели, комкая его в кулаке и снова расправляя, наконец решился, подняв на меня глаза, но тут же снова опустив их к земле.

— Андрей, — сказал он, глядя в землю, — ты грамотный, у тебя буквы ровные. Напиши матери письмо. Я пробовал, у меня выходит либо всё страшное, либо всё враньё, а мне ни того, ни другого не надо.

— Давай попробуем, — сказал я и достал огрызок химического карандаша, послунывил его, как полагалось, хотя знал, что от этого только фиолетовые губы бывают, а не польза.

Тут же вокруг собрался целый совет, будто иначе письма не пишут.

— Пиши, что жив-здоров, — начал Прохор.

— Это само собой, — сказал Опарин, подсаживаясь ближе, устраиваясь основательно, будто собирался руководить всей затеей, — а ещё напиши, что молится за неё каждый день, матери это важно.

— Я не молюсь, — сказал Прохор честно, покраснев.

— А ты для неё помолись, — не отступал Опарин. — Ей спокойней будет знать, что сын не басурман какой.

— Пиши лучше, что он тут герой, — вставил Дьячков, ухмыляясь, отставив котелок в сторону, — что немца голыми руками душил по два за ночь.

— Не смешно, — буркнул Прохор, насупившись.

— А кто говорит, что смешно, я серьёзно, — Дьячков поднял руки, будто оправдывался. — Матери приятно будет, что сын не последний тут.

Хвостов, сидевший в стороне, чинивший ремень на винтовке шилом, до этого не проронивший ни слова, вдруг сказал, не отрываясь от работы:

— Напиши, что кормят.

Все замолчали на секунду, будто эта простая фраза перевесила все предыдущие советы разом. Потом Опарин фыркнул:

— Ну а что, дело говорит. Мать в первую очередь о том и думает, сыт ли.

Я стал писать под общую диктовку, вычёркивая половину — про геройство вычеркнул сразу, Прохор сам попросил, сказал, не хочу, чтобы она боялась лишний раз, представляя, как я там немца душу; про молитву оставил одну строчку, компромиссную, «за тебя, мама, каждый вечер думаю», это было и не ложь, и Опарина устраивало; про еду вписал целиком слова Хвостова, и вышло неожиданно тепло — «кормят исправно, дают пшённый концентрат и сухари, а намедни было сало» — хотя сала не было уже две недели, но это было не совсем враньё, оно вот-вот должно было быть, по слухам. Про Настю Прохор сам вставил строчку, покраснел до ушей, отвернулся, я записал слово в слово, не поправляя.

Письмо вышло на треть листа, тёплое, живое, с подробностью за подробностью — и я, выводя чужие слова про чужую невесту и чужой пшённый концентрат, поймал себя на том, что для Прохоровой матери сочиняю легче и охотнее, чем для собственной. Своё письмо у меня в кармане лежало третий день недописанное — три строчки, жив, здоров, береги себя, и всё, дальше был провал, потому что я не знал, спросить ли про кур или про долг лавке, не знал, кто такая тётка Марфа и надо ли ей кланяться в ответ, и каждая подробность в моём письме грозила обернуться западнёй.

— А про дождь напиши, — сказал вдруг Прохор, подняв голову, — что дождь уже кончился, красиво.

Дождь к вечеру перестал, и мокрые ветки темнели чисто, ещё не тронутые гарью; если не думать о том, что под ними, можно было бы залюбоваться. Это я и себе мог написать, дождь на всех один, тут врать не приходилось.

Дописали Прохорово письмо, свернули треугольником — без конверта, без марки, полевая почта такое брала и так, — и Прохор долго держал письмо в руках, будто взвешивал, прежде чем отдать Гуляеву, разглядывал сложенный треугольник так, будто там уместилось нечто большее, чем на нём написано.

В эту минуту к костру подошёл незнакомый мне боец из соседнего взвода — невысокий, с рябым лицом, шинель нараспашку — и, увидев меня, обрадовался так, будто нашёл земляка на другом конце света. Он ускорил шаг, чуть не поскользнулся на мокрой глине, и лицо у него было такое открытое, такое искренне радостное, что мне сразу стало не по себе.

— Гринёв! Ты ж с Заречной улицы, верно? Демьян я, Кулагин, мы с тобой через два дома жили, у колонки той ржавой.

Я не ответил сразу. Колонки я не помнил, потому что не видел её никогда, Заречной улицы для меня не существовало, была только пустота на месте чужого детства.

— Верно, — сказал я, выигрывая время, и постарался, чтобы лицо не выдало этой внутренней пустоты.

— А что Прохоровнина лавка, стоит ещё? — спросил Кулагин, придвигаясь ближе, довольный, потирая руки от холода или от предвкушения разговора. — А Тереховы как, заколотили дом-то, когда уходили, или так бросили?

— Заколотили, — сказал я наугад, и, кажется, угадал, потому что Кулагин закивал, обрадованный совпадением.

— А сестра твоя как, Нюрка? Помню, косы у неё до пояса были, всё дразнила меня, конопатым звала.

Все смотрели теперь на меня, и Опарин, и Дьячков, ждали ответа, как ждут интересного рассказа, придвинувшись ближе к костру, а я стоял с чужим письмом в кармане и не знал, жива ли эта Нюрка сейчас, здорова ли, замужем ли, и что значит для неё моё молчание, если я вдруг замолчу дольше, чем на секунду.

— Растёт, — сказал я и улыбнулся, как улыбаются, вспоминая что-то хорошее. — Всё такая же вредная.

— Это она может, — засмеялся Кулагин с облегчением, будто мой ответ был именно тот пароль, которого он ждал, хлопнул себя по колену и отошёл греться к своему костру, а я перевёл дух и полез в карман за кисетом, хотя курить не особо хотелось, просто нужно было чем-то занять руки, чтобы никто не заметил, как они чуть подрагивают.

От соседнего окопа подошёл ещё один боец, из третьего взвода, невысокий, лицо серое, и молча протянул Гуляеву треугольник — старый, уже подписанный, уже готовый к отправке, только имя отправителя было чужое, не его. Он держал письмо на вытянутой ладони, будто оно жгло пальцы.

— Это письмо ефрейтора Стеблова из третьего взвода, — сказал он тихо. — Перед отправкой в медсанбат не успел дописать и велел отослать как есть.

Разговор стих. Гуляев взял письмо аккуратно, двумя руками, будто оно было тяжелее обычного, и не стал класть его в общий мешок сразу, отложил отдельно, за пазуху, застегнув на пуговицу, будто письмо могло выпасть.

— Жив он? — спросил кто-то тихо.

— Жив. Плечо разошлось, увезли перевязывать, — ответил Гуляев. — Письмо просил отправить как есть, на адрес матери.

Ковалёв, всё это время молчавший над своим коротким письмом, встал, отошёл к брустверу и стоял там долго, спиной к огню, будто разглядывал темноту за бруствером, хотя разглядывать там было нечего. Никто не окликнул его.

Прохор сидел, зажав своё письмо в кулаке, и смотрел на треугольник Стеблова так, будто впервые понял: человека могут увезти внезапно, а недописанные слова всё равно пойдут к матери.

Помолчали с минуту, и в этой тишине было слышно, как трещат поленья и как далеко на западе едва угадывается неровный гул. Потом Дьячков, не глядя ни на кого, сказал негромко:

— А мой земляк вчера тоже не дописал. Сегодня его уже нет.

Больше он ничего не добавил, и никто не стал спрашивать. Гуляев наконец завязал мешок, поднял его на плечо и пошёл дальше по ходу сообщения, туда, где ждали другие ячейки, другие фамилии, другой расклад, который был не им решён.

Смех вернулся не сразу, но вернулся — иначе было нельзя, иначе замёрзнешь изнутри быстрее, чем снаружи. Начал его, как ни странно, сам Прохор — он вдруг спросил, ни к кому особо не обращаясь, глядя в огонь:

— А после войны вы кем будете?

— Председателем, — тут же ответил Опарин, будто давно уже решил и ждал только повода сказать вслух, приосанившись, расправив плечи. — В своём колхозе. Меня там все знают, меня выберут.

— Тебя выберут, если ты сначала научишься не спорить с каждым встречным, — заметил Дьячков, ухмыляясь.

— А я и не спорю. Я объясняю, — с достоинством ответил Опарин, и все заржали, и он сам не удержался, хмыкнул в усы, довольный собой.

— А я в город подамся, — сказал Дьячков. — В Москву. Там, говорят, после войны рабочих рук не хватит везде, устроюсь на завод, будет форма, будет паёк не хуже, чем тут, только без стрельбы.

— А я домой, — сказал Прохор просто, и голос у него смягчился. — Женюсь на Насте, у неё коса до пояса, я ей ещё в тридцать девятом сказал, что вернусь и женюсь, она смеялась, а я не шутил.

Я знал про Настю больше, чем следовало знать восемнадцатилетнему Гринёву. Знал, что она дождётся, выйдет за него ровно через два года после победы, что у них родятся две дочери, и что Прохор доживёт до этого — если, конечно, доживёт до самой победы, а вот это я знать не мог, и от того, что не мог, мне стало нехорошо, и я отвернулся, будто прикуривал, чиркая кресалом дольше, чем нужно, чтобы скрыть лицо.

— А ты, Гнутов? — спросил Дьячков громко, зная, что ответ будет, и ответ действительно был.

— А я на Клавдии женюсь, — сказал Гнутов серьёзно, вытирая нос рукавом. — Она обещала. У неё изба крепкая, корова опять же.

Все замолчали на секунду, кто-то фыркнул в кулак, Опарин закашлялся демонстративно, отвернувшись, а я вдруг сказал, не подумав:

— Главное, чтобы у неё интернета не было, а то заскучаешь с ней быстро.

Тишина стала другого сорта. Опарин медленно повернул ко мне голову, и в глазах у него была не насмешка, а настороженность, как у человека, который услышал незнакомое слово посреди родного языка.

— Чего у неё не должно быть?

Я на секунду прикусил язык, но остановиться на полуслове было уже глупее, чем договорить.

— Интерната, говорю, — поправился я, не моргнув, ровным голосом, будто заранее знал этот вопрос. — Мой дед так говорил про баб из благородных, дескать, была одна, в интернате училась, вся из себя учёная, а по хозяйству ничего не смыслила. Дед у меня в германскую в Питере стоял, насмотрелся.

— А, — сказал Опарин, успокаиваясь, кивая, — это дело такое. Учёные они не по хозяйству, это точно.

— Во-во, — подхватил я, чувствуя, как отпускает, как расслабляются плечи. — Дед говорил, лучше баба простая, с руками, чем учёная, но без рук.

— Твой дед, я погляжу, много чего говорил, — заметил Дьячков, прищурившись, и было в его взгляде что-то, отчего мне стало беспокойно, но развивать он не стал, отвернулся к костру, помешал угли веткой.

В эту минуту в ход сообщения ввалился Гуляев обратно, теперь уже без мешка, зато с лицом человека, у которого случилась катастрофа мирового значения, и шинель на нём была расстёгнута, будто он бежал.

— Кто брал банку тушёнки со склада! — закричал он ещё издали, размахивая руками. — Три банки было учтено, две осталось! Признавайтесь, а то весь взвод без ужина оставлю!

— Может, ты сам съел, Фрол Игнатьич, — то есть, пардон, Кузьма Ильич, — поправился Дьячков, — и забыл спьяну.

— Я на посту не пью! — оскорбился Гуляев, уперев руки в бока.

— А в блиндаже?

Началось разбирательство по всем правилам: Опарин тут же взял сторону обвинения, потому что любил, когда кого-то судят, и не важно, кого именно, и стал загибать пальцы, перечисляя возможных подозреваемых; Дьячков защищал неизвестного вора, потому что защищать было веселее, чем обвинять, и вставлял едкие реплики про то, что тушёнку, может, крысы съели, а крысы тоже красноармейцы, только маленькие; Прохор божился, что он тут ни при

чём, хотя его никто и не подозревал, прижимая руку к груди; Гнутов предложил допросить всех по очереди, пока Гуляев не разъяснил ему, что это уже и есть допрос, и тогда Гнутов обиженно замолчал, не понимая, чем недоволен старшина.

Хвостов в разбирательстве участия не принимал. Он молча полез в свой вещмешок, достал пустую банку, аккуратно облизанную изнутри, и так же молча протянул её Гуляеву, глядя ему прямо в глаза.

— Я взял. Голодный был.

Тишина. Гуляев взял банку, повертел её, посмотрел на Хвостова, потом на всех остальных, будто ждал, что сейчас кто-то рассмеётся и признается, что это шутка.

— Ну хоть один честный человек в отделении, — сказал он с чувством и пошёл обратно, унося банку как вещественное доказательство и как утешение одновременно.

Когда он скрылся за поворотом хода, Опарин наклонился к Хвостову, понизив голос до шёпота:

— Ты правда взял?

— Нет, — ответил Хвостов, не отрываясь от ремня, который всё ещё чинил, продевая шило сквозь кожу с неспешной точностью. — Он бы до утра всех мучил. Надоело слушать.

Дьячков захохотал так, что закашлялся, хлопая себя по колену, Прохор смотрел на Хвостова с восторгом, как на святого, а я подумал, что вот это и есть, наверное, единственный по-настоящему разумный человек во всём отделении, и промолчал об этом вслух, потому что вслух про такое не говорят.

К вечеру, когда костёр уже почти прогорел и коптилка из гильзы давала света ровно на то, чтобы видеть соседа, а не больше, к нам спустился Бортников — обходил позиции, как обходил каждый вечер, тяжело, неторопливо, ступая так, будто каждый шаг стоил ему усилия, и остановился у нашей ячейки, глядя на треугольник, который Прохор всё ещё держал в руке, так и не отдав.

— Не отправил? — спросил сержант.

— Отправлю, — сказал Прохор. — Только думаю, может, ещё что дописать.

Бортников посмотрел на письмо, потом на Прохора, потом обвёл взглядом всех остальных — на Гнутова, всё ещё сжимающего письмо от Клавдии, на Хвостова с шилом, на Опарина, который уже опять к чему-то придирался вполголоса, тыча пальцем в сторону погасшего костра, и, наконец, на меня, на выпирающий из-за пазухи угол моего собственного, недописанного письма.

— Не дописывай, — сказал он, но смотрел он при этом на меня. — Что нужно, там уже есть.

И пошёл дальше, тяжело ступая по мокрой земле, звук его шагов удалялся, растворяясь в темноте хода сообщения, а я вытащил из-за пазухи свой треугольник, развернул его в последний раз, дописал одну строчку — «Нюрку поцелуй» — и сложил обратно, уже не пытаясь придумать больше ничего, потому что придумывать дальше было некуда, а меньше — нельзя.

Глава 8. Как горит враньё



Я открыл рот, чтобы ответить Хвостову, и не ответил.

Не потому, что решил промолчать. Просто в ту секунду, когда воздух уже стоял у меня в горле готовым словом, гул на западе сделал то, чего ночной гул делать не должен: он перестал ползти вдоль и повернулся ко мне лицом. Разница была в направлении звука. Колонна идёт по большаку — звук у неё длинный, размазанный, он тянется, как тянется мимо тебя товарный состав. А когда мотор разворачивается носом на тебя, звук собирается в точку. Он перестаёт быть погодой и становится адресом.

— Кузьмич! — снова окликнул Хвостов из темноты. — Ты чего замолчал-то? Обещал же.

— Обещал, — сказал я, и голос у меня вышел не тот, каким я собирался говорить, — глуше, короче. — Спи, Аким. Спи, пока дают.

— Так дают-то до четырёх утра.

— Значит, до четырёх утра ты самый богатый человек на этом фланге, — сказал я. — Ложись и не трясись кошельком.

Он засмеялся коротко, и слышно было, как он завоzilся, устраиваясь в щели: шинель под бок, руки в рукава, колени к животу, — за одну ночь эти люди научились укладываться в холодную сырую канаву быстрее, чем городской в кровать.

А я стоял на бугре и слушал.

Слушал я минут семь. Отсчитывал не по часам — часов у меня не было, часы были у Опарина, и он ими дорожил как иконой, — отсчитывал по дыханию: тридцать вдохов на минуту в спокойном состоянии, а у меня их выходило сорок, значит, поправка на четверть.

Вот что я услышал.

Моторы — тяжёлые, не меньше четырёх, скорее шесть, — стали на месте километрах в трёх, севернее, и работали на холостых недолго, потом стихли. Это значит: пришли, встали, глушат. Никто не глушит машины в трёх километрах от противника, если собирается идти дальше по дороге. Глушат, когда приехали.

Потом был другой звук, тише, и его я в первой жизни знал так же хорошо, как в этой знаю запах махорки: короткое, ритмичное железо. Стук металла о металл, с паузами. Так звучит разгрузка. Так звучат опорные плиты, ящики, стволы, которые снимают с машины и кладут на землю, потому что каждый предмет, который человек кладёт на плотную землю, звучит один раз, и по частоте этих «раз» можно посчитать, много ли предметов.

Их было много.

Я сел на корточки прямо там, на бугре, чувствуя, как сырой холод мгновенно пробирается под шинель через сиденье, и, дурак дураком, стал считать по пальцам, загибая их один за другим в перчатке. Миномётный взвод — это ротные полста миллиметров или батальонные восемьдесят один. Полста — их таскают на руках, они не приезжают на машинах. Значит, восемьдесят один. Значит, ночью в трёх километрах ко мне на фланг поставили батарею, которой вчера тут не было, и поставили её не для того, чтобы утром снять.

Сутки, может, полтора, сказал связной.

Связной прикидывал по себе.

Я спустился с бугра и пошёл искать Опарина, оскальзываясь на мокрых комьях, и по дороге у меня в голове очень отчётливо и очень спокойно шла одна мысль, вернее, даже не мысль, а простая арифметика с одним неизвестным: я сейчас должен уйти на пятьдесят минут к Бортникову, чтобы сказать ему вещь, которую обязан сказать; или я должен остаться и потратить эти пятьдесят минут на стык с третьим взводом, который стоит непрокопанным сорок метров.

И ответа не было. Оба варианта были правильные.

Опарин обнаружился у колышка. Он стоял, держа над листком горящую спичку в ладонях домиком, прикрывая огонёк от ветра всем телом, и читал — не для себя, для себя он прочёл давно, а для двоих дьячковских, топтавшихся рядом, пряча озябшие руки в рукава.

— Ко-ва-лёв, — читал он, — ноль — два, оружие. Ясно тебе?

— Ясно.

— Ничего тебе не ясно, — сказал Опарин, — потому что ты не Ковалёв. Ты Малашкин. Малашкин у нас вот тут, ниже. Гляди пальцем.

Спичка догорела, обожгла ему пальцы, и он выругался тихо, аккуратно, как ругаются немолодые люди, — не всердцах, а по делу, стряхивая обугленный остаток в грязь.

— Кондрат Силантыч.

— О, — сказал он, обернувшись. — Явился. Ну?

— Гул слышал?

— Слышал.

— И что скажешь?

Опарин помолчал, глядя куда-то в темноту, где терялась западная кромка, и я по этому молчанию понял, что он слышал ровно то же самое, что я, и что мы сейчас с ним будем говорить как два человека, у которых одинаковые уши и разный запас слов для того, что эти уши слышали.

— Сгружаются, — сказал он.

— Сгружаются.

— Плиты, — сказал он.

— Плиты.

— Тогда, Андрюха, — сказал Опарин, — четыре утра — это ты хорошо загадал, только загадывать надо было на два.

Вот так. Никакой драмы. Пожилой мужик, прошедший Финскую войну, который в жизни не читал ни одного наставления по артиллерийской разведке, слушает ночь и говорит тебе то же, что твоя голова, набитая двадцатью годами чужого века.

— Значит, слушай, — сказал я. — Порядок меняем. Всё, что в бумаге после двух ночи, — вычёркиваю. С двух ночи копают все, кроме тех, кому я скажу лично.

— Хвостова тоже подымешь?

Я замолчал.

Вот это и было то самое место, где у меня внутри качнулось так, что чуть не расплескалось. Потому что я ему обещал. При свидетелях, вслух, глядя в лицо, — обещал человеку, у которого под Вязьмой легло всё отделение, а он ушёл с донесением и вернулся к пустому месту, — обещал, что не подниму, даже если начнётся.

— Не подниму, — сказал я, и голос у меня прозвучал твёрже, чем я сам ожидал.

— Он у тебя лучший на грунте.

— Он у меня лучший на грунте, — сказал я, — и он будет спать до четырёх, как в бумаге написано. Кондрат Силантыч, я эту бумагу вешал не для красоты. Если я её первый же нарушу через шесть часов, она станет туалетной, и вешать её больше смысла нет никогда.

Опарин хмыкнул, покачал головой, будто одновременно и осуждал меня, и одобрял.

— Умный ты, — сказал он. — Только глупый.

— Это как?

— А так, — сказал он. — Ты слово держишь перед бумагой, а немец бумаги не читает. — Он потёр щетину, задумчиво глядя куда-то в темноту. — Ладно. Не поднимай. Я его в четыре сам подыму, и подыму злого, а злой он вдвое роет. Ты его не буди, ты про него забудь до четырёх, а я уж как-нибудь.

К Бортникову я не пошёл.

Я не пошёл не потому, что взвесил и решил. В час ночи у нас сломался второй черенок, треснув с сухим отвратительным звуком прямо в руках у одного из дьячковских, и в половине второго мы напоролись на камень в стыке — здоровенный валун, ледникового происхождения, метр с лишним, ровно поперёк линии. Следующие два часа моей жизни ушли на этот камень, на объезд его щелью, на то, чтоб не рубить кирками впустую тяжёлый суглинок вокруг, а взять его сбоку и вывести ход выше.

Пятьдесят минут к Бортникову я не потратил, потому что у меня их не стало.

Так это и бывает. Не бывает так, что человек стоит перед выбором в красивой позе и выбирает. Бывает, что у него ломается черенок.

Хвостова разбудил Опарин в четыре, как обещал, и Хвостов действительно поднялся злой, глухо ругаясь спросонья, разминая затёкшие плечи резкими рывками, и действительно рыл вдвое, и за первый час выкинул грунта больше, чем двое дьячковских за два.

К шести стало сереть.

Я к этому времени не спал уже сутки с четвертью, и это чувствовалось не усталостью, а странной, обманчивой лёгкостью: тело перестаёт жаловаться и начинает врать, что всё в порядке. Знакомое состояние. В нём хорошо работаете руками и очень плохо думается головой, и главное правило тут — не принимать в этом состоянии новых решений, а исполнять старые.

Я прошёл линию из конца в конец, чувствуя, как ноги ставятся сами собой, помимо воли, механически, шаг за шагом по тяжёлому грунту.

Сто пятьдесят метров профиля стало сто девяносто. Хорошие сто девяносто: щель узкая, устье в полтора штыка, карман под локоть, грунт разнесён и притоптан, прикрыт сорванным дёрном и мокрой травой. С трёхсот шагов — ничего. Пустое поле.

А правее, на двухстах пятидесяти метрах, стояло моё враньё.

За ночь сырость намочила солому, и она осела, слежалась, потемнела и стала выглядеть плотнее, чем вчера. Горбатые кучки через каждые десять-двенадцать шагов. Тёмная полоса перевёрнутого дёрна. Тропы, вытопанные вчера восемью парами ног, за ночь чуть припорошило, и от этого они стали ещё убедительнее, потому что свежая тропа выглядит как царапина,

а суточная — как жизнь. Два чугуна и лист кровельного железа, которые Хвостов притащил из-под развалин хаты и вмуровал в насыпь для тяжести, торчали ровно так, как торчат из настоящего бруствера обломки всего, что попало под руку. И в трёх местах, там, где вчера Гнутов со своей рогожкой развернулся в полную силу, стояли дымовые точки — ямки с тлеющим влажным мхом, прикрытые жестянойкой, дававшие тонкую, ленивую нитку дыма.

Я стоял и смотрел на это в сером свете и думал совершенно неуместную вещь.

Я думал: красиво.

Стыдно, а думал. Есть в человеке такая маленькая гнилая жилка — любоваться своей работой, даже если работа состоит в том, чтобы соврать. Я двадцать три года прожил в профессии, где вранье было половиной выучки, и всякий раз, когда враньё получалось складным, внутри поднималось это тёплое, щенячье: ну гляди, гляди, как хорошо вышло.

А потом всегда приходил кто-нибудь и портил.

— Гринёв.

Я обернулся.

Бортников стоял в двадцати шагах, у выхода тропы из-за кустов, и рядом с ним, чуть позади, — Хвостов с перевязанной спиной, который его, надо полагать, и привёл.

— Товарищ сержант.

— Я по цепи иду, — сказал Бортников. — С шести. У Дьячкова был, теперь к тебе. — Он подошёл, встал рядом со мной на бугорке и стал смотреть туда же, куда смотрел я, дыхание у него вырывалось паром, тяжёлыми короткими облачками. — Ну?

— Сто девяносто метров профиля, — сказал я. — Стык с третьим взводом на камне встал, обвели сбоку, вывели выше, к утру закончили. Люди спали по очереди, все, никто больше шести часов подряд не работал.

— А там? — сказал он и мотнул подбородком вправо.

И вот тут у меня было ровно полторы секунды.

Я эти полторы секунды помню отчётливо, потому что в них уместилось три вещи: что надо сказать сейчас, что говорить это надо стоя лицом к нему, а не в поле, и что я не успею.

Не успел.

Первая мина пришла в шесть двадцать с чем-то, и пришла она не пристрелочной, не одиночной, а сразу с товарками — четыре разрыва почти одновременно, кучно, с недолётом шагов в тридцать, земля дрогнула под ногами, и ещё через двенадцать секунд — второй пакет, уже в самую насыпь.

Мы легли, где стояли.

Я лежал носом в мокрую траву на бугорке, вжимаясь всем телом в землю, чувствуя, как холод от неё пробирается сквозь шинель, а в двух шагах лежал сержант Бортников, и мы оба смотрели вправо, туда, где по моему вранью работала батарея восьмидесятиодно миллиметровых миномётов.

Во мне поднялась одна постыдная вещь.

Когда на позицию, которую ты строил, падают мины, — это ужас. Когда мины падают на позицию, которую ты построил из соломы и жердей специально для того, чтобы на неё падали мины, — это... не знаю, как назвать. Не радость. Радость там неуместна. Это узнавание. Это как если бы ты неделю рассказывал человеку про свою больную ногу, и тебе никто не верил, а потом пришёл доктор, посмотрел и сказал: да, нога больная. И тебе от этого не легче, но что-то внутри становится на место.

Я лежал, вжимался в землю на каждом разрыве, как все, и одновременно считал.

Считать было легко, потому что делать больше было нечего.

Пакет — четыре мины. Пауза десять-двенадцать секунд. Пакет. Пауза. Пакет. Так работает батарея из четырёх стволов при заряжающих, которые никуда не спешат, потому что

уверены. Первый пакет — недолёт. Второй — накрытие. Третий, четвёртый, пятый — все в насыпь, вдоль, с переносом влево на два-три десятка шагов.

Тридцать шесть мин. Я досчитал до тридцати шести и сбился, потому что в этот момент горело уже так, что глазам стало больно, и веки сами прикрывались от жара и яркости.

Солома вспыхнула не вся сразу. Она загоралась кусками — там, где лежился разрыв, — и огонь шёл по насыпи короткими злыми языками, взбегал вверх, объедал стебель до основания и гас, оставляя после себя не пепел, а чёрную тлеющую путаницу, которая ещё держала форму бруствера. Держала! Вот что меня в ту минуту поразило больше всего: обгоревшая, чёрная, дымящаяся солома с трёхсот шагов в дым и в утренний сумрак выглядела ровно тем же самым бруствером, только теперь ещё и обстрелянным, а обстрелянный бруствер — это самое убедительное, что бывает на свете, потому что по пустому месту никто дважды не стреляет.

Мое враньё, загоревшись, стало врать лучше.

Жерди трещали иначе. Каждое близкое попадание выбивало из них щепу — сухую, жёлтую изнутри, — и щепа летела недалеко, оседала на мокрую землю вперемешку с сажей. А один раз в паузе между пакетами по всему полю разнёсся глухой чугунный звон: осколок нашёл котёл Хвостова.

— Что там у тебя гремит? — крикнул Бортников сквозь грохот.

— Чугун! — крикнул я. — Из хаты!

Он повернул ко мне голову, лёжа, щекой в траве, и я увидел, как у него медленно меняется лицо — как складка между бровей углубляется, а губы сжимаются в узкую линию.

Дым пошёл вдоль линии.

Ветер тянул с запада, и весь этот чёрный, стелющийся, маслянистый дым понесло не вверх, а вдоль фланга — и он лёг сплошной завесой между немцем и нашими настоящими ста девяноста метрами. Я лежал и смотрел, как моя горящая ложь укрывает моих живых людей, и думал: я этого не планировал. Я не знал, что ветер будет с запада. Я вообще про ветер не думал.

Половина удачи на войне — это то, чего ты не планировал, а вторая половина — то, что ты успел заметить и подхватить.

— Гринёв! — Бортников подполз ближе, локти его вязли в мокрой земле, и говорить стало можно почти нормально, потому что пакеты уходили правее. — Там у тебя сколько народу?

— Четверо, — сказал я. — Стеблов, Малашкин и двое дячковских. С готовым отходом по ложбине.

— Живые?

— Не знаю.

Он посмотрел на меня, и в этом взгляде было что-то тяжёлое, требовательное.

— Как — не знаю?

— А так, товарищ сержант, — сказал я. — Отсюда не видно, а туда сейчас не добежать. Они лежат в лощине за насыпью, а не в насыпи. Я их в саму насыпь не сажал.

— Почему?

— Потому что насыпь горит, — сказал я.

Он опять посмотрел на меня, теперь дольше, будто взвешивал каждое слово отдельно.

Самым трудным в такие минуты был не страх, а ожидание. Я лежал и ждал, когда Бортников спросит прямо, и понимал, что он не спросит, потому что уже понял, а значит, спрашивать будет позже и не так.

Пакеты кончились в шесть сорок с чем-то.

Тишина после миномётов — это не тишина. Это вата в ушах, в которой шевелятся собственные шаги и собственный кашель, и тебе кажется, что ты оглох, а ты не оглох, просто мир на минуту стал тише твоей крови.

И в эту вату вошёл новый звук.

Пулемёты. Два, с разных точек — от кромки перелеска и с бугра, откуда вчера утром работала машина, — и они били длинными, вдоль, по горячей насыпи. Расчёсывали.

— Пошли, — сказал я.

— Кто?

— Никто ещё, — сказал я. — Пулемёты его прижимают, значит, следом пойдёт пехота. Он сейчас думает, что там у нас всё живое лежит и не смеет голову поднять.

И тогда я сделал то, за что потом ругал себя весь день, и то, что было единственно правильным.

Я поднял руку и, не вставая, показал вдоль настоящего отрезка ладонью вниз — жест, который у нас за двое суток стал понятен всем: лежать, не двигаться, не стрелять.

Штука была в шестнадцати людях. На ста девяноста метрах моей щели сидели шестнадцать человек с винтовками. Шестнадцать. И у них перед глазами по горящему полю сейчас должна была подниматься немецкая цепь — на дистанции, на которой русский солдат сорок первого года стрелять обязан, потому что его этому учили, потому что у него внутри всё кричит стрелять, потому что рядом горит и ему страшно.

А я им — лежать.

Каждый выстрел с настоящего отрезка — это вспышка, это дым, это адрес. Один выстрел — и батарея, работающая с шести утра, развернётся на тридцать градусов влево и накроет живых людей в узких щелях, где нет ни блиндажа, ни перекрытия, ни черта.

— Опарин! — крикнул я. — Передай по щели: никому не стрелять! Ни одного выстрела! Передай дальше!

И услышал, как это пошло: «не стрелять... не стрелять дальше... не стрелять...» — передавалось от человека к человеку, шёпотом и хриплым криком вперемешку, — и как в конце цепи чей-то молодой, сорванный голос переспросил: «совсем, что ли?» — и как Гнутов ему ответил словом, которое в книжку не напишешь, но по смыслу означало «совсем».

Немецкая пехота вышла из перелеска в шесть пятьдесят.

Я считал: не цепь, а две цепи с интервалом, шагов по семьдесят между ними. Первая — человек тридцать, редко, врасстяжку, как ходят, когда уверены, что впереди уже никого. Шли не бегом. Шли шагом, с наклоном вперёд, как ходят под своим огнём, — то есть их пулемёты ещё работали, а они уже шли, и это очень много говорило о том, как они на нас смотрят.

Они шли на мою солому.

И вот это была самая длинная минута всей моей второй жизни.

Потому что я лежал, смотрел на них через полосу дыма, чувствуя, как саднит от напряжения шея, и понимал ровно две вещи, обе неприятные. Первая: как только они дойдут до насыпи и увидят, что там жерди, солома и два чугуна, — обман кончится и начнётся арифметика, в которой у меня шестнадцать винтовок против двух пулемётов и батареи. Вторая: четверо моих в ложине сейчас или уже мертвы, или должны сделать самое трудное, что бывает на войне, — выстрелить в нужную секунду, ни раньше, ни позже.

Я им вчера сказал: подпустите на восемьдесят. Не на сто пятьдесят, не на двести — на восемьдесят. Стреляйте часто, вразнобой, с трёх точек, потом уходите по ложбине и не оборачивайтесь.

Восемьдесят шагов — это очень близко, если ты лежишь в ложине с тремя обоймами.

Они дали на ста двадцати.

Я услышал первый выстрел и понял: рано. Секунду спустя услышал второй, третий, потом частую, злую, беспорядочную пальбу с трёх точек — и цепь легла.

Легла вся, разом, как будто по ней ударили доской.

Рано. Рано, ребята. На восемьдесят надо было, на восемьдесят.

А потом я лежал и смотрел, и понимал, что рано — это я так думаю из своего века, где на восьмидесяти шагах решает плотность огня, а здесь решает не плотность, а вопрос, который встал сейчас в голове немецкого командира: сколько их там?

И ответа у него не было.

Он видел горящую позицию, которую полчаса утюжила батарея, которую расчёсывали два пулемёта, — и с этой позиции всё равно стреляли. Не густо, не залпами, а как стреляют уцелевшие: часто, вразнобой, злобно. Это самая страшная для наступающего картина, какая бывает. Разбитая позиция, которая огрызается, — значит, там их много, значит, они в глубоких щелях, значит, батарея по ним отработала впустую.

Цепь пролежала минуты три.

Потом пулемёты дали ещё, длиннее и злее, и цепь поднялась и пошла снова, и вот тогда мои четверо ушли — я видел, как в лощине мелькнуло раз, другой, третий, и всё, и больше там не было ничего.

Ушли. Все четверо? Не знаю. Мелькнуло три раза.

— Гринёв, — сказал Бортников очень тихо и очень ровно. — Там жерди?

Вот.

Пришло.

Я мог сказать три вещи. Мог сказать «там позиция только обозначена, товарищ сержант, я вам вчера докладывал». Формально — правда. Мог промолчать и показать глазами, мол, сами видите. Мог сделать то, что сделал.

— Там жерди, солома и два чугуна, — сказал я. — Двести пятьдесят метров. Профиля под ними нет, канава брошена на половине. Я вчера доложил вам словом «обозначено», а слово «обозначено» весит меньше, чем то, что вы сейчас видите. Я собирался прийти к вам вечером и показать пальцем, стоя вот на этом бугре: тут пусто, тут пусто и тут пусто. Не пришёл. У меня сломались черенки и встал камень на стыке, и я решил, что земля важнее слов. Это моё решение, и оно неправильное. Настоящий отрезок — сто девяносто метров, шестнадцать человек, перекрытий нет, и если он сейчас догадается и перенесёт огонь — нам туда нечем ответить.

Я выговорил это залпом, не переводя дыхания, потому что знал: если начну расставлять запятые, получится оправдание.

Бортников молчал.

Он лежал в двух шагах от меня, щекой в мокрой траве, и смотрел не на меня, а вправо, на горящую линию, и я видел, как у него ходит желвак — размеренно, тяжело, будто он что-то пережёвывал внутри себя.

А слева от него, в трёх шагах, за кочкой, лежал Опарин.

Я его до этой секунды не видел. Он подполз, когда я передавал команду не стрелять, и остался. И слышал всё — от первого слова до последнего.

И вот это было хуже всего.

Не потому, что Опарин мне враг, — Опарин мне на этом фланге ближе всех. А потому, что Опарин до этой минуты знал ровно то, что видел: старший смены поставил в поле жерди, чтобы немец поглядел на них подольше. Хитрость. Забава. А теперь он услышал полный расклад — что двести пятьдесят метров нашего фронта не прикрыты ничем, кроме соломы, что четверых людей посадили в лощину как приманку и что решение это принял парень девятнадцати лет от роду, не спросив никого выше сержанта, а сержанту сказал одно слово.

Опарин повернул голову. Мы встретились глазами.

Он не сказал ничего. Он просто смотрел на меня секунды четыре, и в этих четырёх секундах помещалось больше, чем в разговоре.

— Ты, — сказал наконец Бортников, — молчи пока.

— Есть молчать.

— Не так молчи, — сказал он. — Языком молчи, а глазами работай. Он сейчас второй раз пойдёт?

— Пойдёт, — сказал я. — Ему надо. Он уже потратил тридцать шесть мин и потерял на поле людей, а взамен не получил ничего. Теперь он обязан взять эту позицию, иначе получается, что он полчаса стрелял в солому. Такое человеку признать труднее, чем ползть ещё раз.

— Так, — сказал Бортников. — И ползет он куда?

— Туда же, — сказал я и осёкся.

И понял, что сказал глупость.

— Нет, — сказал я, тряхнув головой, отгоняя усталость, мешавшую думать. — Не туда же. Он ползет туда же, но не так. Первый раз он шёл в лоб на то, что считал подавленным. Второй раз он пойдёт с краю — обтекать. И край у него один: правый, вдоль лощины, где ушли мои четверо. Потому что оттуда стреляли, значит, там край позиции, а край всегда обходят.

— А там что?

— А там, — сказал я, — через двести шагов кончается моя солома и начинается настоящий отрезок, подставленный обходящей группе голым боком.

Бортников приподнялся на локтях, глядя туда, куда я показывал взглядом.

— Сколько у тебя времени?

— Минут двадцать, — сказал я. — Пока он соберёт, пока переставит пулемёты.

— Что тебе надо?

И вот тут я почувствовал, как у меня внутри что-то щёлкнуло и встало на своё место — то самое, что тридцать лет назад в другой жизни делало меня годным к моей работе.

Потому что вопрос «что тебе надо» — это лучший вопрос, какой командир может задать подчинённому. Он не про вину. Он про дело.

— Шесть человек и четверть часа, — сказал я. — И разрешение бросить всё остальное.

— Бери, — сказал Бортников. — Делай.

Глава 9. Пятнадцать минут

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.